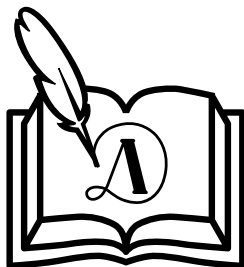


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА





Вас Марк Колчан

1893—1930

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В. Маяковский

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

Художник Л. Дурасов

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
2014

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
М39

Составление, вступительная статья
и комментарии

С. КОРМИЛОВА

Маяковский В. В.

М39 Стихотворения и поэмы / В. Маяковский ; [сост., вступ. ст. и коммент. С. Кормилова] ; худож. Л. Дурасов. — М. : Дет. лит., 2014. — 317 с. : ил. — (Школьная библиотека).

ISBN 978-5-08-005190-6

В сборник одного из крупнейших поэтов XX века В. В. Маяковского вошли широко известные стихотворения «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Стихи о советском паспорте», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и др. и поэмы «Облако в штанах», «Люблю», «Во весь голос» и др.

Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-1

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Кормилов С. И., составление, вступительная статья, комментарии, 2000

© Дурасов Л. П., иллюстрации, 2000

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2000

ISBN 978-5-08-005190-6

Добровольный уход из жизни в апреле 1930 года, сразу после «года великого перелома», установившего в СССР единоличную диктатуру и переломившего хребет русскому крестьянству, обернулся для Маяковского посмертными нравоучениями со стороны тех, кто думал, что они знают, как надо жить. Произведения самоубийцы встречали препятствия на пути в печать.

Лишь в конце 1935 года Сталин, руководствуясь политической конъюнктурой, заявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление». Тогда уж никто не посмел в этом усомниться. Но услуга верховного борца с преступлениями оказалась медвежьей. Критика и литературоведение повернулись на сто восемьдесят градусов. Все написанное Маяковским было объявлено шедеврами (сам он надеялся на бессмертие лишь некоторых своих строк: «...умри, мой стих, / умри, как рядовой, // как безымянные / на штурмах мерли наши!»), классикой социалистического реализма (понятие это появилось через два года после смерти Маяковского). Но фактически наследие поэта было весьма тщательно просеяно. Как сатира на советские порядки, так и трагические стихи о любви были преданы забвению, пропагандировались лишь те произведения (зачастую далеко не лучшие), которые поддавались перетолкованию в сугубо официальном духе. Главное же, Маяковского стали навязывать. Борис Пастернак, в свое время потрясенный ранним творчеством Маяковского, охладевший к нему в послереволюционные годы, но высоко оценивший его последнюю поэму «Во весь голос» (с мокрыми глазами стоял Пастернак у гроба Маяковского), в 1956 году написал: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен».

Пока был жив советский миф, большинство читателей если не любило, то уважало «лучшего, талантливейшего». Как художник-новатор он вдохновлял поэтов хрущевской «оттепели», которые сами, впрочем, уже не пользовались покровительством тогдашних властей. Потом Маяковский стал только «школьной программой». Раз надо, раз принято — читали, по-прежнему не понимая, не вдумываясь в подлинное содержание этой поэзии. А когда наступила «перестройка», Маяковского снова

стали ниспровергать, называть певцом насилия, бесчеловечности. Талант его показался некоторым критикам сомнительным, ущербным. Самые лихие отрицатели не видели вовсе никакого таланта, но это было так нелепо, что никем не принималось всерьез. Ныне серьезными литературоведами и политические упреки в адрес Маяковского воспринимаются как слишком примитивные. Например, академик М. Л. Гаспаров в своих «Записях и выписках» ссылается на близкое ему мнение: «АПОЛИТИЗМ Маяковского: у него нет прямых откликов ни на троцкизм, ни на шахтинское дело, его публицистичность условна, как мадригал (сказала И. Ю. П.)». Однако массовому читателю его поэзия по-прежнему чужда. Легенды о нем до сих пор перевешивают реально им сделанное.

Разумеется, Маяковский был именно советским поэтом. Он верил в марксизм и коммунизм, точнее, убеждал себя и других в том, что верит, страстно хотел верить, а разочаровавшись в своих грандиозных надеждах (всех сразу, не только социально-политических), не смог жить. Но марксистом и социалистическим реалистом, даже вообще реалистом он не был, лишь некоторыми чертами его творчество начиная с 1924 года близко к раннему социалистическому реализму, еще не превратившемуся в псевдохудожественное иллюстрирование идеологических догм.

Маяковский — самый большой в поэзии XX века новатор, художник со своим оригинальным, сугубо индивидуальным мировоззрением и мироотношением.

Его заблуждения ныне очевидны. Но он не лгал, когда создавал мифы, например о Ленине (его революционных поэм не приняли как раз старые большевики, знавшие Ленина лично; это для не знавших художественный образ подменил настоящего вождя). И заблуждался он точно так же, как Гомер, веривший в Зевса и в циклопов, или Шекспир, не сомневавшийся в существовании ведьм. Маяковский тоже верил, вопреки диалектическому материализму, в личное бессмертие, верил буквально, полагая, что умерший растворяется где-то в космосе («Про это», «Сергею Есенину») и что наука будущего найдет способ собирать из Вселенной молекулы, давным-давно составлявшие данного конкретного человека, и во плоти возродить его для новой жизни, в которой смерти уже

не будет. В поэме «Про это» он через десять веков обращается с такой просьбой к химику, который сможет воскресить его, Маяковского, и его возлюбленную.

В грядущем, о котором мечтал Маяковский, не должно быть не только эксплуатации человека человеком, вражды, бедности, голода, болезней, но и плохих, некрасивых людей, не должно быть несчастной любви, наоборот, именно любовь должна стать сущностью всей очеловеченной вселенной. «Чтоб всей вселенной шла любовь», он и старался вместе с другими «переделать» всю прежнюю жизнь, приветствовал и пропагандировал новое или представлявшееся ему таковым, не жалея своего времени, сил, таланта, безжалостно разбазаривая его на плакаты, агитки, даже на советскую рекламу и относясь к этому делу так же серьезно, как к созданию самых вдохновенных, истинно поэтических произведений. Называл ли он себя футуристом, левовцем (в 1923 году он образовал группу «Левф», то есть Левый фронт искусств) или тенденциозным реалистом — это было не самое важное. Маяковский всегда оставался мечтателем, создателем грандиознейшей утопии пересоздания всего существующего. Социалистическая революция никогда не была для него самоцелью, а только средством, толчком к неизмеримо более значительным, величественным преобразованиям.

Естественно, будущее ценилось куда больше, чем настоящее (сколь угодно трудное, зато ориентированное на будущее) и, уж само собой, прошлое (пусть более благополучное, но, как казалось, безнадежно мертвое). Маяковский презирал и ненавидел памятники (свой собственный памятник хотел бы взорвать — «Юбилейное», 1924), парадоксально считал настоящим памятником не воплощенное прошлое, а чаемое будущее: «...пускай нам / общим памятником будет // построенный / в боях / социализм» («Во весь голос», 1930). Со временем он подобрел к вершинным явлениям культуры прошлого, но и в них искал то, что созвучно настоящему.

Маяковский не был историком, не стремился канонизировать первые годы революции. Именно в юбилейной, написанной к десятилетию октябрьского переворота (как тогда официально называли события 7—8 ноября 1917 года), поэме «Хорошо!» он заявил:

Отечество
 славлю,
 которое есть,
но трижды —
 которое будет.

Кстати, там же он высказывает свое отрицательное отношение к главному советскому памятнику-символу — Мавзолею Ленина — при всем пиетете перед самим Лениным: «Но в эту / дверь / никакая тоска // не втянет / меня, / черна и вязка́, — // души́ / не смущу / мертвизной...»

Да и пиетет к «классикам марксизма» у него был далек от официального. В поэме «Владимир Ильич Ленин» он постарался представить своего героя максимально человечным в соответствии со своим идеалом, а не с фактами подлинной истории. И внешний облик его не приукрашивал: «...,эра“ эта / проходила в двери, // даже / головой / не задевая о косяк». В стихотворном фельетоне «О дряни» (1920—1921) портрет Маркса в алой рамочке, висящий на стене у крупного советского бюрократа (его с женой приглашают на «бал» в Реввоенсовет, председателем которого был всесильный тогда Троцкий, большой любитель роскоши), не выдерживает всей увиденной им дряни. Он, тоже «вечно живой», оживает буквально. Но как это подано Маяковским? «Маркс со стенки смотрел, смотрел... / И вдруг / разинул рот // да как заорет...» Троцкому такая сатира чрезвычайно не нравилась. Второе лицо в Советском государстве печатно выговаривало Маяковскому: «По отношению к величайшим явлениям истории он усваивает себе фамильярный тон. И это в его творчестве и самое невыносимое, и самое опасное».

Второстепенных большевистских вождей Маяковский славил совсем немного и только посмертно. В стихотворении «Последняя страничка Гражданской войны» обо всех победителях говорится суммарно и без имен: «Во веки веков, товарищи, / вам — // слава, слава, слава!» И, что показательно, в одном журнальном номере следом за этим стихотворением шел тот самый фельетон «О дряни», подхватывающий, только еще более патетично (с прописными буквами и тремя восклицательными знаками), его последний стих: «Слава, Слава, Слава героям!!!» И тут же: «Впрочем, / им // довольно воздали дани. //

Теперь / поговорим // о дряни». Ни много ни мало о дряни вообще. Хотя о новых «галифищах» думает чиновник, допущенный в Реввоенсовет, а этот совет и возглавлял армию-победительницу. В стихотворении «Верлен и Сезан» (1925) автор отказывается работать во исполнение лозунга «Лицом к деревне». «Поймите ж — / лицо у меня / одно — // оно лицо, / а не флюгер», — пишет он. Совсем не таковы другие живописцы: «Все то же / лицо как будто, — / ан нет, // рисуют / кто поцекистей».

Зато к простому человеку, не претендующему на звание героя, Маяковский относится с большой теплотой. Самый значительный его поэтический отклик вызвала не гибель какого-нибудь военачальника или политического деятеля, а гибель обыкновенного дипломатического курьера («Товарищу Нетте — пароходу и человеку»). Маяковского вдохновляют не столько новые гиганты индустрии, сколько строящийся «город-сад» и рабочие, которые в жутких условиях его закладывают («Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»). Рабочий же, впервые получивший возможность зажить по-человечески, восторгающийся ванной, рисуется с доброй, мягкой иронией («Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»).

Маяковский-революционер, Маяковский-политик — это внешнее и поверхностное. Маяковский-гуманист — главное и глубинное, сколь ни противоречат этому его известные воинственные выкрики.

* * *

Самый воинственный Маяковский — ранний, дореволюционный. Тогда он в своих стихах сражался со всем миром в одиночку. О пролетариате у него в то время нет ни слова.

Владимир Владимирович Маяковский родился в Грузии, в селении Багдади, 7(19) июля 1893 года. Его отец, лесничий, пользовался всеобщим уважением, дружная семья жила благополучно, прекрасная южная природа окружала мальчика. И вдруг, когда ему было тринадцать лет, все изменилось. Отец уколол палец и умер от заражения крови. В 1917 году в поэме «Человек» Маяковский воображал встречу с ним на небесах:

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.

Жизнь как бы идет своим чередом и там. Но в реальности она для семьи Маяковских резко переломилась. Благополучие сменилось бедностью, заботами, хлопотами. Вдова с тремя детьми переехала в Москву, где все было для них непривычно. Володя, например, был разочарован, увидев Воробьевы горы: какие же это горы для уроженца Закавказья? Подросток оказался в семье единственным мужчиной. Он рано повзрослел, но далеко не сразу нашел себя, собственное место в жизни. Горечь и унижение бедности, ощущение своей неприкаянности, даже голод, который вдруг пришлось испытать, запомнились навсегда. Обо всем этом будет рассказано в поэме «Люблю». Маяковский ощутил всем своим существом, как хрупок человек, как несправедлива может быть к нему судьба, каким враждебным может оказаться для него мир и как нужны ему любовь, нежность, ласка.

Неприятие мира поначалу выразилось в революционной деятельности. Юношу, собственно еще подростка, трижды арестовывали. Последний арест стоил ему одиннадцати месяцев Бутырской тюрьмы. Там (это было в 1909 году) он начал писать стихи, впоследствии пытался найти отобранную у него тетрадку, хотя и радовался тому, что не напечатал своих ранних опытов. В автобиографии «Я сам» (1922) Маяковский объяснял отход от партийной работы желанием учиться, чтобы быть полезным своим искусством той же революции. Учился на художника, но с учебой по-настоящему так и не задалось. Очевидно, Маяковский уже тогда понял свое подлинное призвание. А в партии большевиков больше никогда не состоял, даром что в поэме «Во весь голос» приравнял к партбилету «сто томов» своих «партийных книжек». Это одно из противоречий человеческого облика Маяковского. Чрезвычайно ранимый, впечатлительный, эмоциональный, застенчивый, он нередко делал вид, что ему чужды колебания, высказывал безапелляционные суждения от лица самой истины, вел себя вызывающе,

говорил грубо и дерзко. Болезненно мнительный, брезгливый, чистоплотный вплоть до желания истребить «антисанитарный обычай» (как говорят в комедии «Клоп») рукопожатия, он ценил комфорт, но был врагом мещанства и фетишизации вещей. Умел любить до безумия, но именно поэтому настоящей семьи не завел. Боялся смерти и постоянно размышлял и писал о самоубийстве. Самоубийство Есенина решительно осудил, а через четыре года с небольшим последовал за ним (еще более эмоциональный поэт Марина Цветаева осудила поступок Маяковского и через одиннадцать лет покончила с собой). Эти и другие противоречия наложили отпечаток на все творчество Маяковского.

Дружба с первыми русскими футуристами, провозгласившими себя представителями жизни и искусства будущего в настоящем, с самого начала определила характер абсолютно новой поэзии Маяковского, необычной даже для пронизанной неустанными поисками литературы Серебряного века. Но где у Давида Бурлюка или Алексея Крученых были чистейший эпатаж и самодостаточная выдумка, там у Маяковского звучала настоящая боль, крик души, воплощенный с исключительным, изощренным мастерством.

В печати он дебютировал в конце 1912 года сразу блестящими стихами, без сколько-нибудь заметных следов ученичества: «Ночь», «Утро», затем, в начале 1913-го, — «Порт», «Уличное», «Из улицы в улицу». В последнем стихотворении («Лысый фонарь / сладострастно снимает // с улицы / черный чулок») все окружающее предстает одушевленным и бездуховным, очеловеченным и бесчеловечным одновременно. Лирическое «я» только мелькнуло в стихотворении «Ночь», но в миниатюре «А вы могли бы?», напечатанной в марте, поэт-художник — на первом плане. Он решительно противопоставляет себя «карте будня», открывая в малом громадное: «...я показал на блюде студня // косые скулы океана». Лирический герой подчеркнуто не такой, как все. «Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный: // «Будьте добры, причешите мне уши». И парикмахер, и толпа негодуют на «рыжего», то есть циркового клоуна. Живущие в повседневности «ничего не понимают». Эти слова и становятся заглавием стихотворения.

Цикл «Я», включающий «Несколько слов обо мне самом», — начало напряженного лирического самосо-

знания. Нельзя воспринимать буквально и однозначно никаких ошарашивающих образов раннего Маяковского, в том числе строчку: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Это форма отрицания действительности, из которой лучше уйти, не дожив до зрелого возраста. Это и заостренная реакция на стихи Иннокентия Анненского (1855—1909) «...Я люблю, когда в доме есть дети // И когда по ночам они плачут» («Тоска припоминания» из «Трилистника тоски»), и в какой-то степени отзвук самомучительства Маяковского, свойственного ему, наверно, не меньше, чем Достоевскому. Хотя детей он не любил (притом что в советское время писал стихи для детей). Это тоже нужно учитывать, но никакой кровожадности в пугающей строке, конечно, нет.

В конце 1913 года на сцене петербургского «Луна-парка» было поставлено первое крупное произведение поэта — «Владимир Маяковский. Трагедия». Автор был и режиссером и исполнителем главной роли. «Князь» всех нищих огромного города (Маяковский — сугубо городской поэт) в пьесе готов принять крестную муку за всех обиженных, но толпа его не понимает, ее заботят конкретные, ближайшие проблемы. Уже в прологе возникает мотив самоубийства («...и тихим, / целующим шпал колени, // обнимет мне шею колесо паровоза»), позже развитый в поэмах «Флейта-позвоночник» (1915), «Человек» (1917), «Про это» (1923). В стихотворениях религиозная образность воплощает антирелигиозную тему, выражающую протест против всего мироустройства. Вместе с тем в такой проникновенной вещи, как «Послушайте!» (1914), забота о близком, любимом человеке предстает в лирическом сюжете, являющемся, по сути, аллегорией иступленной молитвы. Одновременно в стихотворении «А все-таки» действует какой-то предельно очеловеченный бог, потрясенный заступничеством поэта за самых униженных из человеческих существ — проституток:

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

Картину невероятно жестокого мира усугубила начавшаяся мировая война. Маяковский и в ней попробовал усмотреть обновление жизни, о чем косвенно свидетель-

ствуют его веселые лубочные стишки, высмеивающие военных противников России. Но уже в начале страшной бойни появляются и трагические антивоенные стихотворения Маяковского. В 1915—1916 годах обобщением и дополнением их мотивов станет поэма «Война и мир». Автор, вновь обращаясь к символике страстей Христовых, готов искупить всеобщую вину, приведшую к множеству смертей. Он создает утопическую картину «грядущего счастья» нового, свободного человека. Та же идея содержится в поэме «Человек», еще одном парафразе Евангелия.

Продолжается и сатирическое разоблачение «мирных» обывателей. «Желудок в панаме» — так определил Маяковский в «Гимне обеду» (1915), одном из нескольких иронических «Гимнов», ненавистного ему бездуховного потребителя.

Большинство дореволюционных стихов Маяковского выражает колоссальное нервное напряжение. Это состояние усугублялось, а нередко и определялось его отношениями с женщинами. Вообще-то он был удачлив в любви. Влюблялся довольно часто и, как правило, пользовался взаимностью. Но он был неумерен в чувствах, особенно крайних — любви и ненависти. В любви особенно. Никогда никакая женщина не любила его так, как любил он, — просто не могла, не умела. А он, мнительный, ревнивый, всецело предающийся пылкому чувству, жаждал в ответ такого же и никогда не смирялся с невозможностью этого.

Сюжет о неудачной любви послужил основой первой и лучшей поэмы Маяковского — «Облако в штанах» (1915; название «Тринадцатый апостол», как и многие строки произведения, не пропустила цензура). Личная драма — девушка, которую автор-герой полюбил, выходит за другого, в его восприятии ее «украли», как «Джиоконду», — потрясает его и побуждает ниспровергать все принятые в обществе установления, богохульствовать, требовать от Неба почтительного к нему отношения («Эй, вы! / Небо! / Снимите шляпу! // Я иду!»). Маяковский говорил о «четырех криках четырех частей» поэмы: «Долой в а ш у любовь!», «Долой в а ш е искусство!», «Долой в а ш строй!», «Долой в а ш у религию!».

Поэма была напечатана на средства Осипа Брика и посвящена его жене: «Тебе, Лиля», — хотя то, что в ней описано, произошло до их знакомства, состоявшегося в

июле 1915 года («Радостнейшая дата», — отметил Маяковский в автобиографии), и было связано с двумя другими женщинами. Л. Ю. Брик, формально не разводясь с мужем, стала спутницей и вдохновительницей поэта на всю жизнь, хотя самые близкие их отношения продолжались до 1924 года («...вот / и любви пришел каюк, // дорогой Владим Владимыч», — с мрачной усмешкой скажет он себе в «Юбилейном»). Не только все последующие поэмы, но и итоговое прижизненное собрание сочинений Маяковский посвятит Лиле Юрьевне. Любовные поэмы будут обращены только к ней.

Их отношения тоже были чрезвычайно сложными. Одно из свидетельств этого — надрывное стихотворение «Лиличка! *Вместо письма*», такое мучительное для поэта, что напечатано оно было лишь посмертно, в 1934 году, через восемнадцать лет после написания. Другой поэтический и психологический документ того же времени называется «Ко всему». Это отчаянное стихотворение написано после того, как Маяковский заставил свою любимую рассказать ему о ее первой брачной ночи. Воспроизведены даже детали обстановки, переданные Л. Ю. Брик. Маяковский горел «на несгораемом костре // немыслимой любви» («Человек»).

Для хотя бы относительного морального спокойствия, для обретения подлинной уверенности в себе, которой, конечно, не было у создателя поэтического культа собственной личности (культ и создавался во многом ради того, чтобы не прийти в полное отчаяние и не покончить с собой), необходимо было изменение всей окружающей жизни, всего бытия, всего сознания. Поэтому, когда в 1930 году критик Вячеслав Полонский утверждал: «Революция спасла Маяковского», — в этом не было преувеличения. Революция Маяковскому была интимно дорога. Можно сказать, он полюбил ее, как возлюбленную.

...я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви, —

провозгласил он в стихотворении «Домой» через восемь лет после революции. Поэтому и так долго в нее верил,

вопреки всему, что сам же разоблачал и высмеивал, и от своей веры — веры в великую мечту — не отрекся до конца и тогда, когда отрекся от жизни.

Пророчески предсказывая в первой поэме революцию, даже не одну, нетерпеливый Маяковский торопил события:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

В «Облаке в штанах» (для автора «облако» — метафора нежности) тоже не следует искать апофеоза жестокости. Скажем, призыв «выше вздымайте, фонарные столбы, // окровавленные туши лабазников» — чисто поэтическая гипербола, условная (зачем вешать уже окровавленные туши?) даже в гораздо большей степени, чем угроза убить Бога, который вместе с тем оказывается огромным пространством России: «Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою // отсюда до Аляски!»

Февраль 1917 года Маяковский встретил с воодушевлением, воспел его в «поэтохронике» «Революция». Но поскольку и новые власти продолжали войну, в стихотворении «К ответу!» поэт обратился к солдату:

Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

Он гордился тем, что в октябрьские дни его двустипшие «Ешь ананасы, рябчиков жуй, // день твой последний приходит, буржуй» пришлось по вкусу революционным матросам. Тем не менее отношение Маяковского к большевистскому перевороту, по-видимому, было на первых порах неоднозначным, хотя в автобиографии 1922 года он сообщал: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». Но тут же, в той же строчке: «Начинают заседать». Это слова автора напечатанных к тому времени сатир «О дряни» (где говорилось, что намозолившие «от пятилетнего сидения зады» чиновники-мещане

«с первого дня советского рождения // стеклись... / наскоро оперенья переменяв, // и засели во все учреждения») и «Прозаседавшиеся». В 1917 году он написал «Наш марш», но «Ода революции» со знаменитым «о, четырежды славься, благословенная!» появилась лишь в 1918-м, после «Отношения к лошадям» (позже названного «Хорошим отношением...»), где сострадательный герой так же одинок посреди хохочущей над упавшей лошадью праздной толпы, как в дореволюционном творчестве. Да и в «Оде революции» бодрому выводу предшествуют тяжелые сомнения: «Как обернешься еще, двулика? // Стройной постройкой, / грудой развалин?» Но несмотря на последовавшие груды невиданных развалин, Маяковский уверовал в Октябрь. Иначе ему, с его максималистскими претензиями к будущему, в моральном смысле просто нечем было бы жить.

Послереволюционное творчество поэта количественно намного превышает дореволюционное, но если прежде у него практически не было совсем слабых произведений, то теперь они выпускаются в изобилии. Маяковский стал слугой революции, столь много наобещавшей «в мировом масштабе», и делал самую черную для художника его уровня работу. В этом видели халтуру, а на самом деле то было самопожертвование. Великий поэт XX века действительно «себя / смирял, / становясь // на горло / собственной песне» («Во весь голос»). Трудные годы Гражданской войны во многом были заполнены работой Маяковского как автора плакатов и подписей к ним в «Окнах РОСТА» (так назывались наглядно-агитационные стенды Российского телеграфного агентства). На то, «что-де заела Роста», поэт жалуется солнцу в «Необычайном приключении, бывшем с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920). Но там же приравнивает свой труд для людей к вечному «труду» небесного светила.

К годовщине Октября Маяковский, используя, подобно многим поэтам того времени, библейскую образность (революция осознавалась как величайшее событие в масштабах тысячелетий, даже как новое «сотворение мира»), положил начало советской драматургии пьесой «Мистерия-буфф» — экспериментальным зрелищным действием, в котором смешивались самые разные приемы. Однако долгожительницей «Мистерия» не стала. Не стала и поэма «150 000 000», название которой обозначало насе-

ление революционной России. Прежний индивидуалист, издав ее в 1919 году без имени автора, попытался буквально раствориться в народе. Не принадлежат к шедеврам и последующие революционные поэмы Маяковского «IV Интернационал» и «Пятый Интернационал» (1923—1924), даже «Летающий пролетарий» (1925), где, наряду с поэмой «Про это», интересно претворились как идеи философа-утописта Н. Ф. Федорова (1828—1903) о взаимодействии человека и космоса и «воскрешении отцов», так и основы теории относительности А. Эйнштейна.

Но жанр революционной поэмы сам по себе не исключал высокой художественности. Маяковский достиг бесспорных успехов в двух больших произведениях о революции и ее идеалах — «Владимир Ильич Ленин» (1924) и «Хорошо!» (1927). Поэма о Ленине явилась скорбным реквиемом, прочувствованным надгробным словом, чему не помешал даже весьма разросшийся элемент хроникальности, пересказа общеизвестного (или всем внушаемого). Ведь искусство надгробного слова состоит вовсе не в открытии неких новых истин, оно часто как раз далеко отходит от истины, даже вовсе не предполагает этого критерия. Здесь главное — небанально сказать нечто банальное. Это Маяковский и сумел сделать едва ли не лучше всех многочисленных творцов советской Ленинианы. А в поэме «Хорошо!» поэт чрезвычайно изобретателен в художественных средствах, искусен в монтажной композиции, сатирических приемах, кратчайших очерках социальных типов, многообразен и гибок в языке и стихе. Изображая и славя в финале настоящее, он на самом деле скорее придумывает столь дорогое для него будущее, чего в общем-то и не скрывает, хотя в сочинении «к празднику», казалось бы, тоже позволительно отступить от «обыденной» правды.

Можно сказать, что Маяковский понимал коммунизм прежде всего эстетически, как прекрасную в буквальном смысле действительность, как искусство, превратившееся в жизнь: «...коммуна — / это место, / где исчезнут чиновники // и где будет / много / стихов и песен» («Послание пролетарским поэтам», 1926). А на практике все было наоборот: новая власть оказалась враждебной к подлинному искусству, социализм формировался как чиновничья, административная система. Отсюда сатира Маяковского, античиновническая в первую очередь,

затрагивающая и проблемы нравственности при социализме («Подлиза», «Сплетник», «Ханжа»; 1928). Даже самому мягкому и либеральному из советских высокопоставленных чиновников, наркому просвещения А. В. Луначарскому, не раз доставалось от поэта, но — парадоксально — зачастую именно за эту его относительную мягкость: на «культурном фронте» принято было воевать более жестко. «Тишь / да гладь / да божья благодать — // сплошное луначарство», — язвил Маяковский в стихотворении «Свидетельствую» (1926). В комедии «Клоп» (1928) мещанское семейство Ренесанс живет на улице Луначарского, в комедии «Баня» (1929) один из эпизодов с бюрократом Победоносиковым пародирует случай с задержкой поезда Луначарским, и, к сожалению, писалось это в том самом году, когда усиление тоталитаризма проявилось и в отставке наркома Луначарского. Кстати, прозаические комедии Маяковского, наиболее значительные из его сатирических произведений, резко осуждались деятелями РАПП — пролетарскими писателями. Для них сатира при социализме вообще была явлением подозрительным.

Во многом сатиричны и стихи Маяковского о границе. Капитализм он, конечно, разоблачал, и оснований для этого хватало (например, «Блек энд уайт», «Сифилис» в «Стихах об Америке», 1925), но достижения цивилизации XX века вызывали восхищение поэта. В 1922—1929 годах он совершил девять заграничных путешествий и на многое увиденное отреагировал стихами. «Прощанье», заключающее цикл «Париж» (1925), содержит знаменательные слова: «Я хотел бы / жить / и умереть в Париже, // Если б не было / такой земли — / Москва». «Я горд / вот этой / стальной милей», «Бруклинский мост — // да... / Это вещь!» — восторгается Маяковский техническим чудом Нью-Йорка («Бруклинский мост», 1925), хотя не преминет сказать и о другом: «Отсюда / безработные // в Гудзон / кидались / вниз головой». Достижения западной цивилизации лишь подхлестывали Маяковского, чтобы провозглашать историческое превосходство СССР, в котором он был уверен. «Я стремился / за 7000 миль вперед, // а приехал / на 7 лет назад» — таковы последние слова стихотворения «Небоскреб в разрезе». Афоризмом в том же духе заканчивается «Бродвей»:

Я в восторге
 от Нью-Йорка города.
 Но
 кепчонку
 не сдерну с виска.
 У советских
 собственная гордость:
 на буржуев
 смотрим свысока.

Эта гордость позднее разворачивается в целое произведение — «Стихи о советском паспорте» (1929).

Тем не менее Маяковский считал себя «в долгу» «перед всем, / про что / не успел написать», — не только перед Красной армией, небесами родного селения и «вишнями Японии» (певец техники понял, что зря пренебрегал природой), но и «перед Бродвейской лампионией» («Разговор с фининспектором о поэзии», 1926). Он хотел бы воспеть главную улицу Нью-Йорка не так, как получилось в «Стихах об Америке».

Отношение к поэзии вообще и собственной поэзии в частности — одна из важнейших тем Маяковского. Когда в 1925 году в стихотворении «Домой!» он заявлял:

Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо.
 С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
 о работе стихов,
 от Политбюро,
 чтобы делал
 доклады Сталин, —

в этом не было низкопоклонства перед Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), в ту пору далеко еще не всемогущим вождем, наоборот, было волевое («Я хочу») наставление ему, утверждение высочайшей, определяющей роли искусства в обществе будущего. «Все совдепы не сдвинут армий, // если марш не дадут музыканты», — писал он еще в «Приказе по армии искусств» 1918 года. Тогда Маяковский был правоверным футуристом. Но через три года в «Приказе № 2 армии искусств» перечисляются «футуристики, / имажинистики, / акмеистики, // запутавшиеся в паутине рифм». Маяковский стремится стать выше направлений, школ и групп, создать общезначи-

чинения своих современников как «накладные расходы // на сделанное / нами — / двумя или тремя». Однако он отнюдь не поддается гордыне, тут же обращается с миролюбивым посланием к пролетарским поэтам: «Решим, / что все / по-своему правы» (в сущности, та же мысль в «Стихах о разнице вкусов» 1928 года). «Одного боюсь — / за вас и сам, — // чтоб не обмелели / наши души...» — пишет Маяковский, начиная понимать, что грандиозность ожиданий и планов первых революционных лет все больше выветривается и превращается во фразу.

Ослабевал и его собственный поэтический дар, много писалось стихов (не обязательно рекламного характера), далеко не дотягивающих до уровня раннего Маяковского. «Машину / души / с годами изнашиваешь», «Все меньше любитя, / все меньше дерзается... Приходит / страшнейшая из амортизаций — // амортизация / сердца и души», — признавался Маяковский в «Разговоре с фининспектором о поэзии». Слова «все меньше любитя» здесь очень много значат. Дело в том, что Маяковский мог полноценно жить и в полной мере творчески работать только тогда, когда его воодушевляла любовь. А с этим было сложно.

В конце 1921 — начале 1922 года, в период наиболее гармонических отношений с Л. Ю. Брик, Маяковский написал самую светлую из его поэм — «Люблю». Воспоминания о тяготах и унижениях юности не омрачили ее общего колорита. На кольце, подаренном Лиле Юрьевне, Владимир Владимирович дал выгравировать буквы «Л. Ю. Б.»; если читать по кругу, получалось бесконечное «люблю». Но в конце 1922 года произошла тяжелейшая размолвка. Было принято решение не встречаться два месяца, чтобы проверить свои чувства. Для Маяковского эти два месяца стали временем величайшего психологического и творческого напряжения. С документальной точностью (телефонные звонки, подслушивание под дверь) происходившее в то время описано в поэме «Про это». Ее лирический герой борется за свое счастье, за возлюбленную, отвергая мещанский семейный уют, эмблемой которого для поэта еще во «Владимире Маяковском» стало чаепитие. Он, этот герой, думает о том, как спасти от самоубийства героя более ранних поэм Маяковского о любви. Его душа мечется между дореволюционным Петроградом и Москвой, оказывается в Пятигорске, поры-

вается в космос, к Большой Медведице. Молодой автобиографический герой приходит к мысли о невозможности индивидуального спасения. Он готов стоять «земной любви искупителем» на мосту, чтобы броситься вниз, принимая на себя страдания других, вообще всех: «...за всех расплачусь, / за всех расплачусь». Сам Маяковский лишь во второй жизни, через тысячу лет, рассчитывает на получение недополученного в первой: «Я свое, земное, не дожёл, // на земле / свое не долюбил». Человек и его родные только тогда достигнут счастья, когда не обычное благополучие будет считаться главным в жизни, когда эта жизнь приобретет вселенские масштабы:

Чтоб мог
 в родне
 отныне
 стать
 отец,
 по крайней мере, миром,
 земель, по крайней мере, — мать.

Такова «крайняя мера» поэта-максималиста.

В период работы над поэмой «Про это» он вел дневник в форме письма к Лиле Юрьевне, где, в частности, изложил свое понимание бытия и творчества: «Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все прочее. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем». Благополучное разрешение конфликта конца 1922 — начала 1923 года окрылило Маяковского, он поверил в возможность творческих сил, преобразующих все окружающее. Вот почему в «Весеннем вопросе»

...все другие вопросы
 более или менее ясны.
 И относительно хлеба ясно,
 и относительно мира ведь.
 Но этот
 кардинальный вопрос
 относительно весны
 нужно
 во что бы то ни стало
 теперь же урегулировать.

То есть осталось поладить только с природой.

Но личная гармония оказалась недолговечной, а 1924 год потряс Маяковского еще и смертью Ленина, в котором он видел символ коренного обновления действительности. Отсутствие главного творческого стимула и приводило подчас к тому, что Маяковский подменял художественное качество количеством написанного. В стихотворении «Не юбилейте!» (1926), выступая против официозного прославления революции, поэт мечтал: «...дать бы / революции / такие же названия, // как любимым в первый день дают!» — и призывал: «Нет, / в такую ерунду / не рассказёйте // боевую / революцию — любовь».

Те или иные истории с женщинами не могли компенсировать Маяковскому фактическую потерю той, что была для него всех дороже. Только в 1928 году, через четыре года с лишним после того, как были написаны его последние стихи на любовную тему, появились два стихотворения «про это», имевшие другого адресата. То была эмигрантка, Татьяна Яковлева, «роковая женщина», красавица, резко отрицательно относившаяся к СССР, из которого лишь с большим трудом ей удалось выбраться. Но даже ей поэт попробовал втолковать, что для него и в любви «красный / цвет» его республик «тоже / должен / пламенеть». Любовь для Маяковского — это пробуждение всех духовных и физических сил, которое может проявляться хоть в колке дров, но возбуждает «ревность» к великому Копернику, а не к «мужу Марьи Ивановны». Владимир Владимирович выражал уверенность в том, что он победит в своей борьбе за любимую. Но его во многом растраченный к тому времени талант не достигает в этих двух «письмах» той силы, которая была в ранних любовных стихотворениях и поэмах.

Т. А. Яковлева вышла замуж за французского аристократа. Для Маяковского это был удар. Он и сам видел, что страна, в которую он заманивал Яковлеву, не оправдывала его собственных надежд. Через пять лет после смерти Ленина поэт с огромной тревогой взывал к нему:

Устаешь
 отбиваться и огрызаться.
Многие
 без вас
 отбились от рук.

Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.

В 1928 году Маяковский пытается взбодрить себя «Стихами о советском паспорте», высмеивает «птичку божью» с точки зрения прежнего поэтического утилитаризма, задумывает поэму о пятилетке. Но тяжелый надлом произошел. В конце 1929 — начале 1930 года Маяковский написал первое вступление в поэму «Во весь голос», показавшее, что его талант еще мог подняться до очень высокой точки. О своей современности по отношению к будущему он вполне определенно отозвался как об «окаменевшем г...», осмеял литературу противников, провозгласил уверенность в необходимости его поэтического «оружия», в полезности своих стихов на протяжении большого исторического времени. Но это было самозаклинание без реальной опоры. О самом главном для него — о любви — Маяковский во весь голос не сказал ни слова. К 1928—1930 годам относятся наброски прекрасных любовных стихотворений, это высочайшая лирика, но законченной формы ей так и не суждено было обрести. Упомянутый в этих стихах «Млечпуть» — путь в пространства космоса для уходящего с Земли человека, путь в вечность.

Любовь к похожей на Татьяну Яковлеву актрисе Веронике (Норе) Полонской не принесла Маяковскому столь необходимого ему душевного равновесия. В прессе его травили, комедии на сцене не имели успеха, равно как и персональная выставка «20 лет работы». И страна отнюдь не приближалась к идеалу справедливой и прекрасной жизни. Привязался грипп, замучили простудные болезни. Они были не опасны, но изматывали и раздражали. Мелочи усугубили разочарование в огромном. Потерпела крах вера в гармонию всего: личности, творчества, любви, государства, народа, человечества, планеты, Вселенной. Без такой веры Маяковский жить не мог — и не стал.

Творческий облик Маяковского уникален. Он ни на кого не похож, а ему многие пытались подражать, но безуспешно.

Он поэт революции, то есть насилия. Но ведь для него революция — только средство достижения высших целей. На самом деле он в первую очередь поэт любви и человечности, несмотря на всю свою воинственность и непримиримость. Во второй части комедии «Клоп», где действие происходит в будущем, говорится: «Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна».

Мир поэзии Маяковского полностью очеловечен. Вещи, животные, части тела, народ, природа, солнце, космос, отвлеченные понятия — все имеет человеческое лицо. В стихотворении «Надоело», где автор «для истории» сообщает, что «в 1916 году // из Петрограда исчезли красивые люди», лирический герой готов перенести свою любовь на что угодно: «Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою // умную морду трамвая». В трагедии «Владимир Маяковский» вдруг «у поцелуя выросли ушки, / он стал вертеться, // тоненьким голобочком крикнул: «Мамочку!». Сильнейшая картина «Облака в штанах» — страшная пляска нервов. В стихотворении «А все-таки» «людям страшно — у меня изо рта // шевелит ногами непрожеванный крик». Стихотворение «Мама и убитый немцами вечер» — о гибели на войне вечера, то есть части человеческой жизни; другой вечер оказывается калеккой без рук и без ног. «Скрипка и немножко нервно» — о «деревянной невесте», к которой осмеиваемый поэт бросается на шею: «Знаете что, скрипка? / Мы ужасно похожи: // я вот тоже / ору — / а доказать ничего не умею!» (Как было бы хорошо, если бы он хоть до современного читателя «доорался»!) В «Чудовищных похоронах» хоронят смех. В «Последней петербургской сказке» чуждыми обывателям живыми существами становятся Медный всадник, его конь и змей. Маяковский обращается на «вы» к упавшей лошади («Хорошее отношение к лошадям») и на равных разговаривает с солнцем («Необычайное приключение...»). Для него живы и портрет Маркса, и «людей половины»,

кое противопоставление выдающейся личности и толпы. Сверх того, Маяковский вводит в стихи имена возлюбленных, друзей, знакомых, матери и сестер, свое собственное имя и фамилию, называет точные адреса (например, в стихотворении «Я и Наполеон» с характерной постановкой «я» на первое место: «Я живу на Большой Пресне, / 36, 24»), свой возраст («Облако в штанах»: «Мир огрóбив мощью голоса, // иду — красивый, / двадцатидвухлетний»), детали внешности, не всегда привлекательные (поэма «Флейта-позвоночник»: «скалю гнилые зубы»), и своей автобиографии. Хотя имя героини «Про это» в тексте не названо, Маяковский издал поэму с большим фотографическим портретом Лили Брик на обложке. На других фотографиях в книге автор говорил по телефону, сидел на чемодане, стоял на мосту и т. д., — произведение, пронизанное фантастикой, в то же время представляло чуть ли не как документальное (именно в 1923 году был образован «Леф», провозгласивший создание «литературы факта» в противовес вымыслу и психологизму, но Маяковский и от них не отказался, вопреки теоретическим декларациям своих товарищей). Сочетание противоположностей характерно для вершинных произведений XX века; у Маяковского оно особенно демонстративно. Ему мало обычного лирического стихотворения для выражения переполняющих его чувств. Наряду с Мариной Цветаевой он создает чисто лирические, почти лишённые сюжетного действия поэмы.

Корней Чуковский в 1920 году назвал Маяковского врагом тишины, «поэтом грома и грохота», «гигантис-том» («Нет такой пылинки, которой он не превратил в Арарат... Даже слова он выбирает максимальные: *разговорище, волнище, котелище, адище, шеища, шажиче, Вавилонище, хвостиче*»), «гражданином Вселенной», певцом катастроф и конвульсий. Он, опять-таки как Цветаева, — поэт непесенный, его эстетика — эстетика крика. Эффект стихов Маяковского всегда чрезвычайно усиливался их авторской декламацией. На бумаге эта рассчитанная на звучание поэзия определенно проигрывает. К сожалению, сколько-нибудь качественных записей голоса Маяковского не сохранилось.

Во многих его произведениях, особенно ранних, тема развивается на эмоциональном пределе. Поэт и весь окружающий мир видит как нечто громадное, грандиозное,

прибегает к самым масштабным гиперболам: «Он раз, не дрогнув, стал под пули // и славится столетий сто, — // а я прошел в одном лишь июле // тысячу Аркольских мостов!» («Я и Наполеон»), «Скоро / у мира / не останется неполоманного ребра» («К ответу!»), о цифре в отчете: «Черт его знает, что это такое, // если сзади / у него / тридцать семь нулей», «Недавно уверяла одна дура, // что у нее / тридцать девять тысяч семь сотых температура» («Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе»), «Я никогда не знал, / что столько / тысяч тонн // в моей / позорно легкомыслюй головенке» («Юбилейное»), «Одни дома / длиною до звезд, // другие — / длиной до луны» («Бродвей»), «Поэзия — / та же добыча радия. // В грамм добыча, / в год труды. // Изводишь единого слова ради // тысячи тонн / словесной руды» («Разговор с фининспектором о поэзии») и т. д.

С бурной эмоциональностью и захватывающей нежностью парадоксально сочеталась рассудочность, логичность. Показательно, что у такого непосредственно поэта, как Есенин, почти все стихотворения не озаглавлены, не поддаются однозначным определениям, а Маяковский почти всегда обдуманно подбирал заглавие к уже оконченному тексту. Для будущих произведений намечались «заготовки»: темы, образы, слова, рифмы. Как правило, основной эффект должно было производить заключение четверостишия и стихотворения, последний стих или два, поэтому два предыдущих имели служебный характер, например, позволяли использовать неожиданную рифму. Пробовал себя Маяковский и в самоценном стихотворном эксперименте. Таково начало «Из улицы в улицу» со строчками, повторяемыми и переворачиваемыми по отношению к предыдущим:

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.

Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.

Нередко Маяковский прибегает к гротеску, то есть сочетанию внешнего правдоподобия и фантастики. Например, в «Рассказе про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума» обжорство бабы выходит за пределы реального: «Уж из глаз еда течет // у разбухшей бабы!» На гротеске построены и стихотворения «О дряни», «Прозаседавшиеся». У Маяковского гротеск бывает не только сатирическим, комическим. Разговоры с солнцем, памятником Пушкину, мертвым Есениным («Вижу — / взрезанной рукой помешкав, // собственных / костей / качаете мешок») тоже гротескны, хотя в них есть и патетика, и драматизм, и трагизм. Маяковский был остроумным человеком, любил шутки, каламбуры, но и каламбуры его иногда бывали весьма серьезны или двойственны («Ну а мне б / опять / знамена простирать!» в «Атлантическом океане»: то ли от торжественного глагола «простираться», то ли от «стирки» в океанских волнах; «на фоне / сегодняшних / дельцов и пролаз // я буду / — один! — / в непролазном долгу» в «Разговоре с фининспектором о поэзии»). В «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» автор, обращаясь к комсомольскому деятелю и рассказывая о своей новой любви, да еще к эмигрантке, подшучивает над самим собой, говорит и с иронией, и очень всерьез: «Я ж / навек / любовью ранен — // еле-еле волочусь». Либо с трудом передвигается, словно раненый, либо всего лишь «волочится» за женщиной, слегка ухаживает. Этот каламбур — средство психологической самозащиты.

Маяковский смело вводил в поэзию язык улиц, «площадные» слова и выражения. Неоднократно он о себе говорит: «ору». Но «низкие» слова необязательно снижают общий тон, бывает и наоборот, например в поэме «Хорошо!»: «Мы — / голодные, / мы — / нищие, // с Лениным в башке / и с наганом в руке» (о самом трудном периоде Гражданской войны).

В стихотворениях Маяковского используется прямая речь лирического героя и персонажей, поэт играет чужим словом, особенно в стихах о загранице (французские, английские выражения). Бывает, слово формально принадлежит авторской речи, но передает позицию отнюдь не одобряемых персонажей. Так, в «Стихах о советском паспорте» тупые чиновники на границе «берут, / не моргнув, / паспорта датчан // и разных / прочих / шведов».

Поэтический словарь Маяковским был существенно обновлен. Иногда он создавал составные неологизмы в духе Игоря Северянина, но с собственной стилистической экспрессией: *пестрополосая, шляпой стопёрой, мордой многохамой, золотолапым микробом, кудроголовым волхвам, сердцелюдый* и т. д. Однако преобладающий тип неологизма у Маяковского — слово с какой-нибудь измененной морфемой, выделенное, таким образом, с сохранением его основного лексического значения: *змéи хвост, есть ли наших золот небесней, взорим, вспоем, сонница, трезвонится, в Эрэсэфэсэрю, красным Гейнем, размедевил вид, мертвость* и др. В «Юбилейном», перечислив фамилии бездарных пролетарских поэтов, Маяковский восклицает: «...какой / однаробразный пейзаж!» Неологизм-каламбур *однаробразный* связывает подчас малограмотных сочинителей с отделом народного образования: еще один камешек в огород ведомству, просветительская деятельность которого Маяковского не удовлетворяла.

Поэт, особенно в юности, любил необычные сравнения: «мужчины, залежанные, как больница, // и женщины, истрепанные, как пословица» («Облако в штанах»). Потом он стал сдержаннее в сравнениях, но они продолжали играть большую роль: «Мороз хватает / и тащит, / как будто // пытается, / насколько в любви закаленные» («Владимир Ильич Ленин»), «В курганах книг, / похоронивших стих, // железки строк случайно обнаруживая, // вы / с уважением / ощупывайте их, // как старое, / но грозное оружие» («Во весь голос»). Среди других синтаксических приемов — эллипсис, пропуск тех или иных членов предложения: «...вам я // душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! — // и окровавленную дам, как знамя» («Облако в штанах»).

И конечно, Маяковский — мастер иносказательных выражений, прежде всего метафор: «гвоздями слов // прибит к бумаге я» («Флейта-позвоночник»), «Очищенной влагой вымыт // грех отлетевшей души» («Война и мир»), «Мир / хотел бы / в этой гряде гóря // настоящие облапить груди-горы» («Про это»), «Мне наплевать / на бронзы многопудье, // мне наплевать / на мраморную слизь» («Во весь голос») и т. д.

Исключительно много сделал Маяковский для развития русского стиха. Начинал он с вполне классической

силлабо-тоники¹: «Ночь», кроме одной дактилической строки, написана четырехстопным амфибрахией, «А вы могли бы?» — четырехстопным ямбом. Но уже в 1913 году поэт осваивает тонический стих. У Маяковского он не был равноударным, строчки разной длины просто различались счетом ударений. Иногда такой стих называют свободным стихом с рифмой. Впоследствии Маяковский упорядочил свою тонику, у него стали преобладать четырехударные, трехударные стихи и их сочетания. Иногда в качестве «ритмического курсива», обычно в конце четверостишия, возникает резко укороченная, вплоть до одного слова, строка. Формой записи стихов со второй половины 1913 года стал «столбик», дробивший стихи на более короткие отрезки, каждый из которых выделялся. Это усложняло восприятие, границы между стихами и рифмы оказывались завуалированными, часто теряются при первом прочтении, читателю приходится возвращаться от конца строфы к началу. Вдобавок Маяковский не следил внимательно за правильным расположением частей каждого стиха в печати и потом не исправлял вкравшихся ошибок.

В 1923 году, работая над поэмой «Про это», Маяковский перешел от «столбика» к более собранной «лесенке», которая сохраняла дробление стиха, но без его размывания. Это сразу сделало произведения Маяковского намного яснее.

«Лесенка» применяется и в стихах, которые не относятся к тоническим. Из них для Маяковского советского периода характерны нетрадиционные вольные ямбы и хорей с длиной стиха до десяти стоп (хотя, как правило, они бывают не больше семи). Такой хорей мы видим, например, в стихотворениях «Юбилейное» (где первая лесенка — обращение, выделенное полужирным шрифтом: **Александр Сергеевич, / разрешите представиться. / Маяковский**), — по сути, вообще прозаический зачин), «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». Но хорей в них не всегда выдерживается, как в «Необычайном приключении...», записанном еще в «столбик», в двух местах не выдерживался ямб (в стихотворении осуществляется чередование четырех- и трехстопного ямба). «Письмо Татьяне Яковлевой» и по-

¹ В основе силлабо-тонической системы стихосложения — упорядоченное чередование ударных и безударных слогов.

эма «Во весь голос» в произвольном порядке чередуют разные формы тонического и силлабо-тонического стиха, метрические переходы, как правило, совпадают со смысловыми. Главное, стих Маяковского исключительно разнообразен и гибок, легко и в основном естественно сочетает ранее не сочетавшееся.

Столь же разнообразны рифмы Маяковского. Часто они являются неточными, особенно в нечетных стихах четверостиший (точные в четных — втором и заключительном, четвертом, — их уравнивают), но при этом по большей части богатыми, с совпадением предударных частей слов, и, разумеется, небанальными, непривычными для уха читателей 1910—1920-х годов: *перуанцы — померанца, черного — ученого, громадили — Богоматери*. Среди них рифмы составные: *смотрел, как — тарелка, лучше как — поручика, я ни на — Северянина*; неравносложные (рифмуя части слов разной длины, Маяковский далеко превзошел своих предшественников-экспериментаторов): *Пиррову — вырву, названивая — названия, обнаруживая — оружие*; одновременно составные и неравносложные: *взмахами шагов мну — Гофману, год от года расти — бодрости*; разноударные: *времени — ремни, в радости — подрасти*; консонансы (созвучие согласных без созвучия ударных гласных): *громкою — рюмкой* (консонанс неравносложный), *у самого — на самовар, ровненько — браунинга, ковшом — в шум* — и многие другие.

Художественные принципы Маяковского прошли немалую эволюцию, и не только в отношении стиха. Установлено, что со временем поэт отказывается от лексической контрастности, сокращая число как слов высокого стиля, так и вульгаризмов, глаголы уступают место прилагательным (во «Владимире Ильиче Ленине» по сравнению с «Облаком в штанах» стиль заметно описательнее, статичнее), убывают смелые сравнения и красочные метафоры, зато метонимий (иносказаний с переносом значения не по сходству, а по смежности: «певец кипяченой // и ярый враг воды сырой»), как и устойчивых эмблем («Славьте, / молот / и стих, // землю молодости» в «Хорошо!»), становится больше. И, само собой, наряду с «я» ранних стихов появляется «мы». В целом стиль Маяковского, обращающегося к советским читателям, становится если не во всем проще, то доступнее, хотя не всегда произведение от этого выигрывает.

* * *

Не только усложненные, но и вполне «понятные» стихи Маяковского остались и остаются в существе своем непонятыми, недооцененными тем самым широким читателем, к которому он после революции по преимуществу обращался. Слишком громок его поэтический голос. Он кричит так, чтобы докричаться до всей Вселенной, и именно поэтому те, кто стоит к нему достаточно близко, его не слышат. Да, Маяковский говорит что-то важное «векам, истории и мирозданию», но и каждому человеку в отдельности, «уважаемым товарищам потомкам». Только его уважение еще нужно оправдать.

С. Кормилов

СТИХОТВОРЕНИЯ







НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жечь, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клоч.

Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!
Дай исцелю твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгий жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверев, будет тереться,
ощетинит ножки стоголавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,

плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гроба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!

Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полúденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мýку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людам страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой,
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

ЕЩЕ ПЕТЕРБУРГ

В ушах обрывки теплого бала,
а с севера — снега седей —
туман, с кровожадным лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.
А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой.

[1914]

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьем криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урбидился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.



МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма-а-а-ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбрыцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

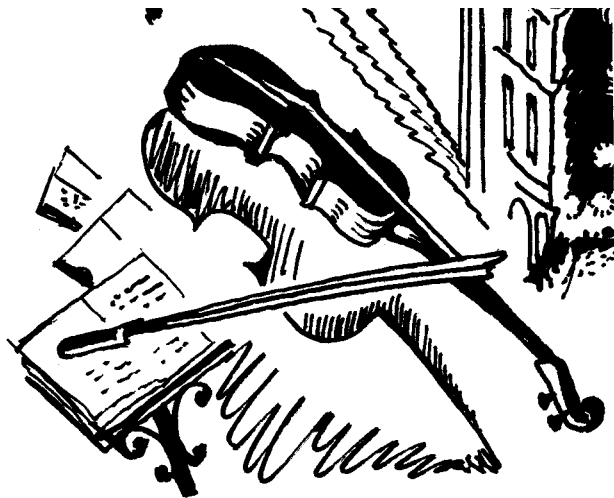
1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаюсь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.

«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914



Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется — какое мне дело,

что где-то

в буре-мире

взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые

дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному
изголовью
припала, — набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерстевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —

солнце Аустерлица!
Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!
Он раз чуме приблизился тронем,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду о́сочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодаршью миноносъему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносъему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамыши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услышал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше бельё
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

1915

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядер
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!



Пусть в зале совсем потонут зрочки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашенное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная бжила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудного меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

1915

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

(ГИМН ЕЩЕ ПОЧТЕЕ)

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте,
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-галá
затягла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки хóленные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой тóчен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

[1915]

КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
спатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.
Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоём — как на смертном бдре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,

кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскóчите!

Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутая голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?

Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

1916

ЛИЛИЧКА!
ВМЕСТО ПИСЬМА

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссецась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гирия ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике вырветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умбрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.

Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г., Петроград

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корю
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поце-
луев покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

ДЛЯ ИСТОРИИ

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасно придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет —
словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних йот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склóнится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я, не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа, —
а ее богатства пойдите смертьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громяхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече, —
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечесье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!

1916

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ,
ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовицу мою волоча.
В какой ночи,
бредовый,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
— Жует! —
Не знает, зачем они.
Древняя!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

[1916]

РЕВОЛЮЦИЯ
ПОЭТОХРОНИКА

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и дóлог.
В промозглой казарме,
суровый,
резвый,
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилаясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.



Чье-то — «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградю.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страха и радую.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо

дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданной,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громохвая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро,
жужжа, скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреде мы.

Что будет?
Их ли из оков выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.

Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые, падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не óжил.

Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.

И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех ма́ло?!
Или небо над нами ма́ло голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серую,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громбóвое:
— Верую
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверься,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 г., Петроград

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля,

голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает, скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленю ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.—

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала!
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...



Улица опрокинулась,
течет по-своему...

Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска

плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!

О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двулика?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овечьему,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус заливчатский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить páрами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащíte рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскрой ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.

На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

ЛЕВЫЙ МАРШ

(МАТРОСАМ)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нáнтятой,
стальной изливаются леевой, —
России не быть под Антантой.

Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

**НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ
ЛЕТОМ НА ДАЧЕ**

(ПУШКИНО, АКУЛОВА ГОРА, ДАЧА РУМЯНЦЕВА,
27 ВЕРСТ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем



ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!

послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.

Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА
О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА
БЕЗ ВСЯКОГО УМА
СТАРАЯ, НО ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
 две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал, —
 а в ём ума —
я-то куму верю, —
что барон-то,
 слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
 всё
 в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
 — Ну,
 не ври! —
Пуд за рупь за двадцать.
— А вина, скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
 лично
 по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.

Ну, не власть, а прямо сласть,
просто — равноправие. —

Встали, ртом лова ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На́, — сказал он бабе, —
сороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы! —
Вмиг обувшись,

шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрыхнул ей:

во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский

увидать
флаг

на Ай-Петри.
Разогнавшись с дальних стран,
удержаться сиясь,
баба

прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В «Гранд-отеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.

Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.

Всё в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
— Дайте мне
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то

просит счет
бабин голос слабый.
Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!

С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.
— Нет! —

(Бледность мелом в рожке.)
Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже. —
Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют! —
Возопил хозяин в яри:
— Это, тетка, что же!

Этак
каждый пролетарий
жрать захочет тоже.
— Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдетель

и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части.
Взвыла баба:
— Ой,
прошу,
защитите, власти! —
Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.

— Много, — молвит, — благ в Крыму
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я. —

Влезла
тетка
в скороход
пред тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрю.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!

Октябрь — ноябрь 1920



О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменяв,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.

Тариф.
 Эх
 и заведу я себе
 тихоокеанские галифица,
 чтоб из штанов
 выглядывать,
 как коралловый риф!»
 А Надя:
 «И мне с эмблемами платья.
 Без серпа и молота не покажешься в свете!
 В чем
 сегодня
 буду фигурять я
 на балу в Реввоенсовете?!»



На стенке Маркс.
 Рамочка а́ла.
 На «Известиях» лежа, котенок греется.
 А из-под потолочка
 верещала
 оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
 И вдруг
 разинул рот
 да как заорет:

«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
голова канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

**СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ,
О БАБЕ
И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ**

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.
Привыкли к миллионам.
Даже до Луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к таким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревим,
рамки арифметики, разумеется, ўзки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.

Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,
канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на́ бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещей язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,

а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!

1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гболо!
Все до 22-х лет

на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922



но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.

Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.

Ну, скажем,
могу
доказать:
«Самогон — большое зло».

А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искра́пили,
приветствуй весну,
ответь салютно!

Разучились —
нечем ответить на капли.

Ну, не могу сказать —
ни слова.
Абсолютно!

Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.

Наблюдают —
скальвают дворники лед.

Под башмаками вода.
Бассейны.

Сбоку брызжет.
Сверху льет.

Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, —
например:
выбрать день
самый синий,

и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.

Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.

Например:
 чтоб старики,
 безработные,
 неучащаяся детвора
в 12 часов
 ежедневно
 собирались на Советской
 площади,
троекратно кричали б:
 ура!
 ура!
 ура!
Ведь все другие вопросы
 более или менее яснѣ.
И относительно хлеба ясно,
 и относительно мира ведь.
Но этот
 кардинальный вопрос
 относительно весны
нужно
 во что бы то ни стало
 теперь же урегулировать.

1923

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
 в поэтах
 истерика.
Я Терек не видел.
 Большая потеряйка.
Из омнибуса
 вразвалку
сошел,
 поплеывал
 в Терек с берега,
совал ему
 в пену
 палку.
Чего же хорошего?
 Полный развал!
Шумит,
 как Есенин в участке.

Как будто бы
Терек
организовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступления
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.

про это
 пишет себе Пастернак,
А мы...
 соглашайся, Тамара! —
История дальше
 уже не для книг.
Я скромный,
 и я
 бастую.
Сам Демон слетел,
 подслушал,
 и сник,
и скрылся,
 смердя
 впустую.
К нам Лермонтов сходит,
 презрев времена.
Сияет —
 «Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
 Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

1924

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
 разрешите представиться.
 Маяковский.
Дайте руку!
 Вот грудная клетка.
 Слушайте,
 уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
 в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
 что столько
 тысяч тонн
в моей
 позорно легкомыслрой головенке.
Я тащу вас.
 Удивляетесь, конечно?

я
с удовольствием справлюсь с двоими,
а разозлить — и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...¹
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам — говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на ЭМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!

¹ Между нами (фр.).

Надо,
 чтоб поэт
 и в жизни был мастак.
Мы крепки,
 как спирт в полтавском штофе.
Ну а что вот Безыменский?!
 Так...
ничего...
 морковный кофе.
Правда,
 есть
 у нас
 Асеев
 Колька.
Этот может.
 Хватка у него
 моя.
Но ведь надо
 заработать сколько!
Маленькая,
 но семья.
Были б живы —
 стали бы
 по Лефу соредатор.
Я бы
 и агитки
 вам доверить мог.
Раз бы показал:
 вот так-то, мол,
 и так-то...
Вы б смогли —
 у вас
 хороший слог.
Я дал бы вам
 жиркóсть
 и сýкна,
в рекламу б
 выдал
 гумских дам.
(Я даже
 ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
 быть
 приятней вам.)

оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
«Который?»
Поэт?
Так ведь это ж —
просто кустарь,
простой кустарь,
без мотора».
Перо
такому
в язык вонзи,
прибей
к векам кунсткамер.
Ты врешь.
Еще
не найден бензин,
что движет
сердце кусками.
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идея.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?
К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
события берет —

опишет
 вчерашний гул,
 а надо
 рваться
 в завтра,
 вперед,
 чтоб брюки
 трещали
 в шагу.

В садах коммуны
 вспомнят о б́арде —
 какие
 птицы
 зальются им?

Что,
 будет
 с веток
 товарищ В́ардин
 рассвистывать
 свои резолюции?!

За глотку возьмем.
 «Теперь поори,
 несбитая быта морда!»

И вижу,
 зависть
 зажглась и горит
 в глазах
 моего натюрморта.

И каплет
 с Верлена
 в стакан слеза.

Он весь —
 как зуб на сверл́е.

Тут
 к нам
 подходит
 Поль Сезан:

«Я
 так
 напишу вас, Верлен».

Он пишет.
 Смотрю,
 как краска свежа.

сердце
 мне
 сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
 жить
 и умереть в Париже,
если б не было
 такой земли —
 Москва.

1925

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ»

6 МОНАХИНЬ

Воздев
 печеные
 картошки личек,
черней,
 чем негр,
 не выдавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
 на борт
 парохода «Эспань».
И сзади
 и спереди
 ровней, чем веревка.
Шали,
 как с гвоздика,
 с плеч висят,
а лица
 обвила
 белейшая гофрировка,
как в Пасху
 гофрируют
 ножки поросят.
Пусть заполнится годами
 жизни квота —
стóбит
 только
 вспомнить это диво,

раздирает
 рот
 зевота
 шире Мексиканского залива.
 Трезвые,
 чистые,
 как раствор борной,
 вместе,
 эскадроном, садятся есть.
 Пообедав, сообща
 скрываются в уборной.
 Одна зевнула —
 зевают шесть.
 Вместо известных
 симметричных мест,
 где у женщин выпуклость, —
 у этих выем:
 в одной выемке —
 серебряный крест,
 в другой — медали
 со Львом
 и с Пием.
 Продрав глазенки
 раньше, чем можно, —
 в раю
 (ужо!)
 отоспятся лишек, —
 оркестром без дирижера
 шесть дорожных
 вынимают
 евангелишек.

Придешь ночью —
 сидят и бормочут.
 Рассвет в розы —
 бормочут, стервозы!
 И днем,
 и ночью, и в утра, и в полдни
 сидят
 и бормочут,
 дуры господни.

Если ж
 день
 чуть-чуть
 помрачнеет с виду,

пароход из Мексики,
а мы —
туда.

Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит — говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.

Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

3 июля 1925 г., Атлантический океан





БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если
 Гавану
 окинуть мигом —
рай-страна,
 страна что надо.
Под пальмой
 на ножке
 стоят фламинго.
Цветет
 коларио
 по всей Ведадо.
В Гаване
 все
 разграничено четко:
у белых доллары,
 у черных — нет.
Поэтому
 Вилли
 стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
 за жизнь
 повымел Вилли —
одних пылинок
 целый лес, —

поэтому
в́олос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовб́ой инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно-
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:

«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченный.
Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».

Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пáрдон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».

В портишке,
известном
лишь кабачком,
Коломб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив
шляпы бочком.
Христофора злят,
пристают к Христофору:
«Что вы за нация?
Один Сион!
Любой португалишка
даст тебе фору!»
Вконец извели Христофора —
и он
покрыл
дисканточком
щелканье пробок
(задели
в еврее
больную струну):
«Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
страну».
Дивятся приятели:
«Что с Коломбом?»
Вина не пьет,
не ходит гулять.
Надо смотреть —
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля».

2

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
недосыпает ночей.

Арабы,
 французы,
 испанцы
 и датчане
 лезли
 по трапам
 Коломбова корабля.
 «Кто здесь Коломб?
 До Индии?
 В ночку!
 (Чего не откроешь,
 если в пузе оргáн!)
 Выкатывай на палубу
 белого бочку,
 а там
 вези
 хоть к черту на рога!»
 Прощанье — что надо.
 Не отъезд — а помпа:
 день
 не просыхали
 капли на усах.
 Время
 меряли,
 вперяясь в компас.
 Спьяна
 путали штаны и паруса.
 Чуть не сшибли
 маяк зажженный.
 Палубные
 не держатся на полу,
 и вот,
 быть может, отсюда,
 с Жижона,
 на всех парусах
 рванулся Коломб.

4

Единая мысль мне сегодня любя,
 что эти вот волны
 Коломба лапили,
 что в эту же воду
 с Коломбова лба

стекали
 пота
 усталые капли.
Что это небо
 землей обмелья,
на это вот облако,
 вставшее с юга, —
«На мачты, братва!
 глядите —
 земля!» —
орал
 рассудок теряющий юнга.
И вновь
 океан
 с простора раскосого
вбивал
 в небеса
 громыхающий клин,
а после
 бртался
 с волной сарагоссовой,
и вместе
 пучки травы волокли.
Он
 этой же бури слушал лады.
Когда ж
 затихает бури задор,
мерещатся
 в водах
 Коломба следы,
ведущие
 на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни
 в бородатые месяцы.
Луны
 мрут
 у мачты на колу.
Надоело океану,
 Атлантический бесится.
Взбешен Христофор,
 извелся Колумб.

С тысячной волны трехпарусник
 съехал.
 На тысячу первую взбираться
 надо.
 Видели Атлантический?
 Тут не до смеха!
 Команда ярится —
 устала команда.
 Шепчутся:
 «Черту ввязались в попутчики.
 Дома плохо?
 И стол и кровать.
 Знаем мы
 эти
 жидовские штучки —
 разные
 Америки
 закрывать и открывать!»
 За капитаном ходят по пятам.
 «Вернись! — говорят,
 играют мушкой. —
 Какой ты ни есть
 капитан-раскапитан,
 а мы тебе тоже
 не фунт с осьмушкой».
 Лазит Коломб
 на бра́мсель с ф́ока,
 глаза аж навывкате,
 исхудал лицом;
 пустился вовсю:
 придумал фокус
 со знаменитым
 Колумбовым яйцом.
 Чтó яйцо? —
 игрушка на́ день.
 И день
 не оттянешь
 у жизни-воровки.
 Галдит команда,
 на Коломба глядя:
 «Крепка
 петля
 из генуэзской веревки.

Кончай,
Христофор,
собачий век!..»
И кортики
воздух
во тьме секут.
«Земля!» —
Горизонт в туманной
кайме.
Как я вот
в растущую Мексику
и в розовый
этот
песок на заре,
вглазелись.
Не смеют надеяться:
с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
материк индейцев.

6

Года прошли.
В старика
шпиуна
смельчал Атлантический,
гордый смолоду.
С бортов «Мажестіков»
любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.
Коломб!
твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твои потомки
с машинным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложивши котомки.

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
вгляни
насквозь
на здание на то.
Увидишь —
старейшие
норки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.
Ест
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
приданные сорочки,
мисс
перезрелая
в мечте о женихах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,

о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

1925

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
— Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?

класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв —
стали б
содержанием
премного одаренней.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.

и выводит
под березкой дохлой —
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».

Эх,
поговорить бы йначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять! —

Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.

Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,

где,
 когда,
 какой великий выбирал
путь,
 чтобы протоптанней
 и легче?
Слово —
 полководец
 человечьей силы.
Марш!
 Чтоб время
 сзади
 ядрами рвалось.
К старым дням
 чтоб ветром
 относило
только
 путаницу волос.
Для веселия
 планета наша
 мало оборудована.
Надо
 вырвать
 радость
 у грядущих дней.
В этой жизни
 помереть
 не трудно.
Сделать жизнь
 значительно трудней.

1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
 Простите за беспокойство.
Спасибо...
 не тревожьтесь...
 я постою...
У меня к вам
 дело
 деликатного свойства:

о месте
 поэта
 в рабочем строю.
В ряду
 имеющих
 лабазы и уголья
и я обложен
 и должен караться.
Вы требуете
 с меня
 пятьсот в полугодие
и двадцать пять
 за неподачу деклараций.
Труд мой
 любому
 труду
 родствен.
Взгляните —
 сколько я потерял,
какие
 издержки
 в моем производстве
и сколько тратится
 на материал.
Вам,
 конечно, известно
 явление «рифмы».
Скажем,
 строчка
 окончилась словом
 «отца»,
и тогда
 через строчку,
 слога повторив, мы
ставим
 какое-нибудь:
 ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
 рифма —
 вексель.
Учесь через строчку! —
 вот распоряжение.
И ищешь
 мелочишку суффиксов и флексий

в пустующей кассе
 склонений
 и спряжений.
Начнешь это
 слово
 в строчку всовывать,
а оно не лезет —
 нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
 честное слово,
поэту
 в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
 рифма —
 бочка.
Бочка с динамитом.
 Строчка —
 фитиль.
Строка додымит,
 взрывается строчка, —
и город
 на воздух
 строфой летит.
Где найдешь,
 на какой тариф,
рифмы,
 чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
 пяток
 небывалых рифм
только и остался
 что в Венецуэле.
И тянет
 меня
 в холода и в зной.
Бросаюсь,
 опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
 учтите билет проездной!
— Поэзия
 — вся! —
 езда в незнаемое.
Поэзия —
 та же добыча радия.

В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит — и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомяе ревямя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами —
двумя или тремя.

Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
— Были выезды?
Или выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас —
в мое положение войдите —
про слуг
и имущество
с этого угла.
А что,
если я
народа водитель
и одновременнó —
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,

а мы,
 пролетарии,
 двигатели пера.
 Машину
 души
 с годами изнашиваешь.
 Говорят:
 — в архив,
 исписался,
 пора! —
 Все меньше любитя,
 все меньше дерзается,
 и лоб мой
 время
 с разбега крушит.
 Приходит
 страшнейшая из амортизаций —
 амортизация
 сердца и души.
 И когда
 это солнце
 разжиревшим боровом
 взойдет
 над грядущим
 без нищих и калек, —
 я
 уже
 сгнию,
 умерший под забором,
 рядом
 с десятком
 моих коллег.
 Подведите
 мой
 посмертный баланс!
 Я утверждаю
 и — знаю — не налгу:
 на фоне
 сегодняшних
 дельцов и пролаз
 я буду
 — один! —
 в непролазном долгу.

Долг наш —
 реветь
 медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
 у бурь в кипенье.

Поэт
 всегда
 должник вселенной,
платящий
 на гóре
 проценты
 и пени.

Я
 в долгу
 перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
 багдадские небеса,
перед Красной армией,
 перед вишнями Японии —
перед всем,
 про что
 не успел написать.

А зачем
 вообще
 эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой
 и ритмом ярьсь?

Слово поэта —
 ваше воскресение,
ваше бессмертие,
 гражданин канцелярист.

Через столетья
 в бумажной раме
возьми строку
 и время верни!

И встанет
 день этот
 с фининспекторами,
с блеском чудес
 и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
 в энкапеез
 на бессмертье билет

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
 позвольте
 без позы,
 без маски —
как старший товарищ,
 неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
 товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
 товарищ Уткин.
Мы спорим,
 аж глотки просят лужения,
мы
 задыхаемся
 от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
 деловое предложение:
давайте
 устроим
 веселый обед!
Расстелим внизу
 комплименты ковровые,
если зуб на кого —
 отпилим зуб;
розданные
 Луначарским
 венки лавровые —
сложим
 в общий
 товарищеский суп.
Решим,
 что все
 по-своему правы.
Каждый поет
 по своему
 голоску!
Разрежем
 общую курицу славы
и каждому
 выдадим
 по равному куску.

Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.
А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напостовской тряской,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... —
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение,
а ну, давай!

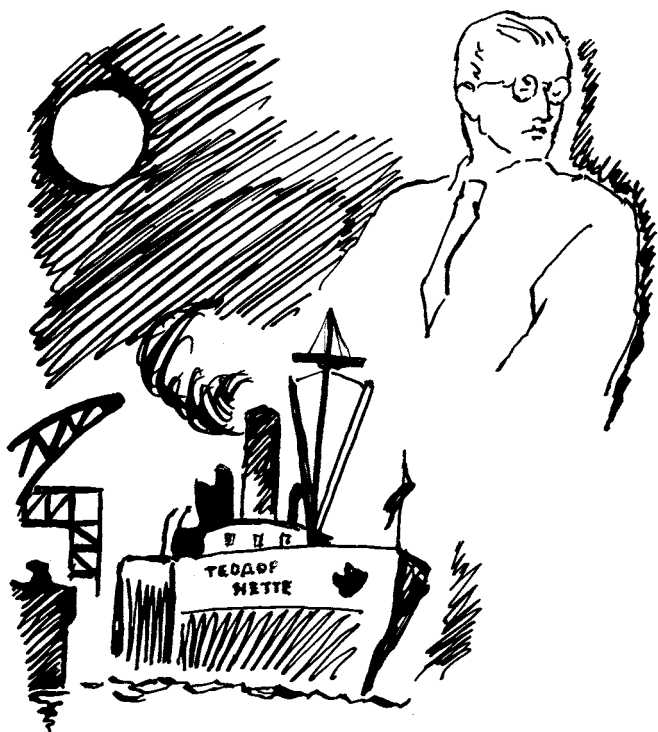
Есть
 перед нами
 огромная работа —
 каждому человеку
 нужное стихачество.
 Давайте работать
 до седьмого пота
 над поднятием количества,
 над улучшением качества.
 Я меряю
 по коммуне
 стихов сорта,
 в коммуну
 душа
 потому влюблена,
 что коммуна,
 по-моему,
 огромная высота,
 что коммуна,
 по-моему,
 глубочайшая глубина.
 А в поэзии
 нет
 ни друзей,
 ни родных,
 по протекции
 не свяжешь
 рифм лычек.
 Оставим
 распределение
 орденов и наградных,
 бросим, товарищи,
 наклеивать ярлычки.
 Не хочу
 похвастать
 мыслью новенькой,
 но по-моему —
 утверждаю без авторской спеси —
 коммуна —
 это место,
 где исчезнут чиновники
 и где будет
 много
 стихов и песен.

Стоит
 изумиться
 рифмочек парой нам —
 мы
 почитаем поэта гением.
 Одного
 называют
 красным Байроном,
 другого —
 самым красным Гейнем.
 Одного боюсь —
 за вас и сам, —
 чтоб не обмелели
 наши души,
 чтоб мы
 не возвели
 в коммунистический сан
 плоскость раешников
 и ерунду частушек.
 Мы духом одно,
 понимаете сами:
 по линии сердца
 нет раздела.
 Если
 вы не за нас,
 а мы
 не с вами,
 то черта ль
 нам
 остается делать?
 А если я
 вас
 когда-нибудь крою
 и на вас
 замахивается
 перо-рука,
 то я, как говорится,
 добыл это кровью,
 я
 больше вашего
 рифмы строгал.
 Товарищи,
 бросим
 замашки торгашьи

ТОВАРИЦУ НЕТТЕ —
ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте, —
в бытность человеком
ты пивал чай
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтесея —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего

встречусь я
 с тобою —
 с пароходом.
 За кормой луница.
 Ну и здóрово!
 Залегла,
 просторы нáдвое порвав.
 Будто нáвек
 за собой
 из битвы коридоровой
 тянешь след героя,
 светел и кровав.
 В коммунизм из книжки
 верят средне.
 «Мало ли,
 что можно
 в книжке намолоть!»
 А такое —
 оживит внезапно «бредни»
 и покажет
 коммунизма
 естество и плоть.
 Мы живем,
 зажатые
 железной клятвой.
 За нее —
 на крест,
 и пулею чешите:
 это —
 чтобы в мире
 без Россий,
 без Латвий,
 жить единым
 человечьим общежитьем.
 В наших жилах —
 кровь, а не водица.
 Мы идем
 сквозь револьверный лай,
 чтобы,
 умирая,
 воплотиться
 в пароходы,
 в строчки
 и в другие долгие дела.



Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ

Куда бы

ты

ни направил разбег,
и как ни ёрзай,
и где ногой ни ступи, —
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского —

переулок или тупик.

Где я?

В Ялте или в Туле?

Я в Москве

или в Казани?

Разберешься?

— Черта в стуле!

Не езда, а — наказание.

Каждый дюйм

бытия земного

профамилиен

и разыменован.

В голове

от имен

такая каша!

Как общий котел пехотного полка.

Даже пса дворняжку

вместо

«Полкаша»

зовут:

«Собака имени Полкан».

«Крем Коллонтай.

Молодит и холит».

«Гребенки Мейерхольд».

«Мочала

а-ля Качалов».

«Гигиенические подтяжки

имени Семашки».

После этого

гуди во все моторы,

наизобретай идей мешок,

все равно —

про Мейерхольда будут спрашивать:

«Который?»

Это тот, который гребешок?»
Я
 к великим
 не суюсь в почетнейшие лики.
Я солдат
 в шеренге миллиардной.
Но и я
 взываю к вам
 от всех великих:
— Милые,
 не обращайтесь с ними фамильярно!

1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ
ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН»
И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака́,
 закат расканарейте!
Опускайся,
 южной ночи гнет!
Пара
 пароходов
 говорит на рейде:
то один моргнет,
 а то
 другой моргнет.
Что сигналият?
 Напрягаю я
 морщины лба.
Красный раз...
 угаснет,
 и зеленый...
Может быть,
 любовная мольба.
Может быть,
 ревнует разозленный.
Может, просит:
 — «Красная Абхазия»!
Говорит
 «Советский Дагестан».

Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная
она:
— Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
— Все вы,
бабы,
трясогузки и каналы...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня... —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

1926



ПИСЬМО
ПИСАТЕЛЯ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
МАЯКОВСКОГО
ПИСАТЕЛЮ
АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ
ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
Нынче —
иначе.
Сед височный блеск,
и взоры озарённой.
Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,
без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете —
с Капри,
с горки
Вам видней?
Вы
и Луначарский —
похвалы повальные,
добряки,
а пишуций
бесстыж —

тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.
Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь
и идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого...
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремёсла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха —
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья
в их стихе
холодном
и лядащем.
Все
входящие
срифмуют впечатления

и печатают
 в журнале
 в исходящем.
 А рядом
 молотобойцев
 анáпестам
 учит
 профессор Шенгэли.
 Тут
 не поймете просто-напросто,
 в гимназии вы,
 в шинке ли?
 Алексей Максимович,
 у вас
 в Италии
 Вы
 когда-нибудь
 подобное
 видали?
 Приспособленность
 и ласковость дворовой,
 деятельность
 блюдо-рубле- и тому подобных «лиз»
 называют многие
 — «здоровый
 реализм».
 И мы реалисты,
 но не на подножном
 корму,
 не с мордой, упершейся вниз, —
 мы в новом,
 грядущем быту,
 помноженном
 на электричество
 и коммунизм.
 Одни мы,
 как ни хвалíte халтуры,
 но, годы на спины грузя,
 тащим
 историю литературы —
 лишь мы
 и наши друзья.
 Мы не ласкаем
 ни глаза,
 ни слуха.

Мы —
 это Леф,
 без истерики —
 мы
 по чертежам
 деловито
 и сухо
 строим
 завтрашний мир.
 Друзья —
 поэты рабочего класса.
 Их знание
 невеликó,
 но врезал
 инстинкт
 в оркестр разногласий
 буквы
 грядущих веков.
 Горько
 думать им
 о Горьком-эмигранте.
 Оправдайтесь,
 гряньте!
 Я знаю —
 Вас ценит
 и власть
 и партия,
 Вам дали б всё —
 от любви
 до квартир.
 Прозаики
 сели
 пред Вами
 на парте б:
 — Учи!
 Верти! —
 Или жить Вам,
 как живет Шаляпин,
 раздушенными аплодисментами оляпан?
 Вернись
 теперь
 такой артист
 назад
 на русские рублики —

я первый крикну:
— Обрато катись,
народный артист Республики! —
Алексей Максимыч,
из-за Ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?



Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясненья ходкие!),
будто
Вы
не едете из-за чахотки.

И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!

Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!
Бросить Республику
с думами,
с бунтами,
лысинку
южной зарей озарив, —
разве не лучше,
как Феликс Эдмундович,
сердце
отдать
временам на разрыв.

Здесь
дела по горло,
рукав по локти,
знамена неба
альí,
и соколы —
сталь в моторном клёкоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.
Делами,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетой
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

[1926]

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена
и разен язык

и одежи!

Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.

И, глуша прощаньем свистка,
рванулся

курьерский

с Курского!

Заводы.

Березы от леса до хат

бегут,

листочками вороча,

и чист,

как будто слушаешь МХАТ,

московский говорочек.

Из-за горизонтов,

лесами сломанных,

толпа надвигается

мазанок.

Цветисты бочкá

из-под крыш соломенных,

окрашенные разно.

Стихов навезите целый мешок,

с таланта

можете лопаться —

в ответ

снисходительно cedят смешок

уста

украинца-хлопца.

Пространства бегут,

с хвоста нарастав,

их жарит

солнце-кухарка.

И поезд

уже

бежит на Ростов,

далёко за дымный Харьков.

Поля —
на миллионы хлебных тонн —
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —
то головы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.

Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седины.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
из седла
осетины.

Верх
гор —
лед,
низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
Тифлищев
узнаешь и метров за сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижакими.
По-своему
всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,

забыл,
 где я ночью.
 Я
 адрес
 по-русски
 спросил у хохла,
 хохол отвечал:
 — Не чую. —
 Когда ж переходят
 к научной теме,
 им
 рамки русского
 узки;
 с Тифлисской
 Казанская академия
 переписывается по-французски.
 И я
 Париж люблю сверх мер
 (красивы бульвары ночью!).
 Ну, мало ли что —
 Бодлер,
 Маларме
 и эдакое прочее!
 Но нам ли,
 шагавшим в огне и воде
 годами,
 борьбой прожженными,
 растить
 на смену себе
 бульвардье
 французистыми пижонами!
 Используй,
 кто был безъязык и гол,
 свободу Советской власти.
 Ищите свой корень
 и свой глагол,
 во тьму филологии влазьте.
 Смотрите на жизнь
 без очков и шор,
 глазами жадными цапайте
 все то,
 что у вашей земли хорошо
 и что хорошо на Западе.

Но нету места
 злости мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
 взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
 и негром преклонных годов,
и то,
 без унынья и лени,
я русский бы выучил
 только за то,
что им
 разговаривал Ленин.
Когда
 Октябрь орудийных бурь
по улицам
 кровью лился,
я знаю,
 в Москве решали судьбу
и Киевов
 и Тифлисов.
Москва
 для нас
 не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
 не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
 разных истока
 во мне
 речевых.
Я
 не из кацапов-разинь.
Я —
 дедом казак, другим —
 сечевик,
а по рождению
 грузин.
Три
 разных капли
 в себе совмещав,

беру я
 право вот это —
покрыть
 всесоюзных совмещан.
И ваших
 и русопетов.

1927

РАССКАЗ
ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА
О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
 Объясняться лишне.
Жил,
 как мать произвела, родив.
И вот мне
 квартиру
 даёт жилищный,
мой,
 рабочий,
 кооператив.
Во — ширина!
 Высота — во!
Проветрена,
 освещена
 и согрета.
Все хорошо.
 Но больше всего
мне
 понравилось —
 это:
это
 белее лунного света,
удобней,
 чем земля обетованная,
это —
 да что говорить об этом,
это —
 ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.

Кран
 другой
 не тронешь рукой.
 Можешь
 холодной
 мыть хохол,
 горячей —
 пот пор.
 На кране
 одном
 написано:
 «Хол.»,
 на кране другом —
 «Гор.».
 Придешь усталый,
 вешаться хочется.
 Ни щи не радуют,
 ни чая клокотанье.
 А чайкой поплещешься —
 и мертвый расхохочется
 от этого
 плещущего щекотания.
 Как будто
 пришел
 к социализму в гости,
 от удовольствия —
 захватывает дых.
 Брюки на крюк,
 блузу на гвоздик,
 мыло в руку
 и...
 бултых!
 Сядешь
 и моешься
 долго, долго.
 Словом,
 сидишь,
 пока охота.
 Просто
 в комнате
 лето и Волга —
 только что нету
 рыб и пароходов.
 Хоть грязь
 на тебе
 десятилетнего стажа,



с тебя
 корою с дерева,
чуть не лыком,
 сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
 разжаришься уж!
Тут —
 вертай ручки:
и каплет
 прохладный
 дождик-душ
из дырчатой
 железной тучки.
Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя
 никакой
 не возьмет упадок:

погладит волосы,
 потреплет уши
 и течет
 по желобу
 промежду лопаток.
 Воду
 стираешь
 с мокрого тельца
 полотенцем,
 как зверь, мохнатым.
 Чтобы суше пяткам —
 пол
 стелется,
 извиняюсь за выражение,
 пробковым матом.
 Себя разгладевши
 в зеркало вправленное,
 в рубаху
 в чистую —
 влазь.
 Влажу и думаю:
 «Очень правильная
 эта,
 наша,
 Советская власть».

*Свердловск
 28 января 1928 г.*

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
 тих
 и бесформен,
 словно студень, —
 очень многие
 из них
 в наши
 дни
 выходят в люди.
 Худ умом
 и телом чахл
 Петр Иванович Болдашкин.

В возмутительных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашник.
Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.
Где причина?
В чем секрет?
Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.



Лижет ногу, лижет руку,
 лижет в пояс, лижет ниже, —
 как кутенок лижет
 суку,
 как котенок кошку лижет.
 А язык?!
 На метров тридцать
 догонять начальство
 вылез —
 мыльный весь, аж может
 бриться,
 даже кисточкой не мылась.
 Все похвалит, впавши
 в раж,
 что фантазия позволит —
 ваш катар, и чин,
 и стаж,
 вашу доблесть и мозоли.
 И ему пошли
 чины,
 на него в быту
 равненье.
 Где-то будто
 вручены
 чуть ли не — бразды правленья.
 Раз уже
 в руках вожжа,

всех
сведя
к подлизным взглядам,
расклюнявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо...»
Мы
глядим,
уныло ахая,
как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.

1928

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».

И знал лишь
 бог седобородый,
что это —
 животные
 разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЦУ КОСТРОВУ
ИЗ ПАРИЖА
О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
 меня,
 товариц Костров,
с присущей
 душевной ширью,
что часть
 на Париж отпущенных строф
на лирику
 я
 растранжирю.
Представьте:
 входит
 красавица в зал,
в меха
 и бусы оправленная.
Я
 эту красавицу взял
 и сказал:
— правильно сказал
 или неправильно? —
Я, товарищ, —
 из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
 девиц красивей,
я видал
 девиц стройнее.
Девушкам
 поэты любви.
Я ж умен
 и голосист,



заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.

Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, —
тридцать...
с хвостиком.

Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут угольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.

Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьею,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.

Любить —
это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны
считая
своим
соперником.

Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен

сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом нѣ был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят нáземь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,

когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвывается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
тоже
моих республик
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме, —

не гроза,
а это
просто
ревность
двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски, —
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста миллионам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих, —

вы и нам
 в Москве нужны,
не хватает
 длинноногих.
Не тебе,
 в снега
 и в тиф
шедшей
 этими ногами,
здесь
 на ласки
 выдать их
в ужины
 с нефтяниками.
Ты не думай,
 щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
 иди на перекресток
моих больших
 и неуклюжих рук.
Не хочешь?
 Оставайся и зимуй,
и это
 оскорбление
 на общий счет нанижем.
Я все равно
 тебя
 когда-нибудь возьму —
одну
 или вдвоем с Парижем.

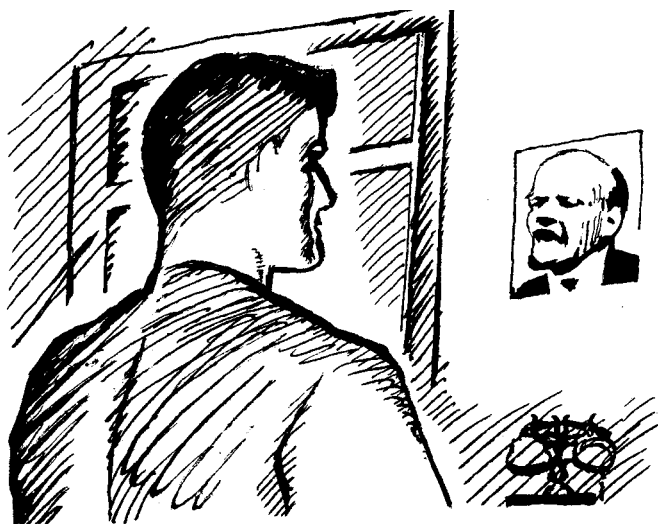
1928

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
 суматохой явлений
день отошел,
 постепенно стемнев.
Двое в комнате.

Я
и Ленин —

фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адская
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищ и бóль,
ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конечно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.



Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы, —

ходят,
 гордо
 выпятив груди,
в ручках сплошь
 и в значках нагрудных...
Мы их
 всех,
 конечно, скрутим,
но всех
 скрутить
 ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
 по фабрикам дымным,
по землям,
 покрытым
 и снегом
 и жнивьем,
вашим,
 товарищ,
 сердцем
 и именем
думаем,
 дышим,
 боремся
 и живем!..»

Грудой дел,
 суматохой явлений
день отошел,
 постепенно стемнев.
Двое в комнате.
 Я
 и Ленин —
фотографией
 на белой стене.

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
 выгрыз
 бюрократизм.

К мандатам
 почтения нету.
К любым
 чертям с матерями
 катись
любая бумажка.
 Но эту...
По длинному фронту
 купе
 и кают
чиновник
 учтивый
 движется.
Сдают паспорта,
 и я
 сдаю
мою
 пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
 улыбка у рта.
К другим —
 отношение левое.
С почтеньем
 берут, например,
 паспорта
с двухспальным
 английским левую.
Глазами
 доброго дядю выев,
не переставая
 кланяться,
берут,
 как будто берут чаевые,
паспорт
 американца.
На польский —
 глядят,
 как в афишу коза.
На польский —
 выпяливают глаза
в тугой
 полицейской слоновости —
откуда, мол,
 и что это за
географические новости?

С каким наслаждением
 жандармской кастой
 я был бы
 исхлестан и распят
 за то,
 что в руках у меня
 молоткастый,
 серпастый
 советский паспорт.
 Я волком бы
 выгрыз
 бюрократизм.
 К мандатам
 почтения нету.
 К любым
 чертям с матерями
 катись
 любая бумажка.
 Но эту...
 Я
 достаю
 из широких штанин
 дубликатом
 бесценного груза.
 Читайте,
 завидуйте,
 я —
 гражданин
 Советского Союза.

1929

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
 склоняясь учтиво.
 Руку жму.
 — Товарищ —
 сядьте!
 Что вам дать?
 Автограф?
 Чтиво?

— Нет.
 Мерси вас.
 Я —
 писатель.

— Вы?
 Писатель?
 Извините.

Думал —
 вы пижон.
 А вы...

Что ж,
 прочтите,
 зазвоните
 грозным
 маршем
 боевым.

Вихрь идей
 у вас,
 должно быть.

Новостей
 у вас
 вагон.

Что ж,
 пожалте в уха в оба.
 Рад товарищу. —
 А он:

— Я писатель.
 Не прозаик.

Нет.
 Я с музами в связи. —
 Слог
 изыскан, как борзая.
 Сконапель
 ля поэзи¹.

На затылок
 нежным жестом
 он
 кудрей
 закинул шелк,
 стал
 барашком златошерстым

¹То, что называют поэзией (*фр.* ce qu'on appelle la poésie).

и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,
по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел
виолончелью.
Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,
терпел
и лопнул
и ударил
лапой
об стол.
— Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечесий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.
В испытанье
битв
и бед

с вами,
 што ли,
 мы
 полезем?
В наше время
 тот —
 поэт,
тот —
 писатель,
 кто полезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь —
 хлебов подвозу.
В наши дни
 писатель тот,
кто напишет
 марш
 и лозунг!

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

По небу
 тучи бегают,
дождями
 сумрак сжат,
под старую
 телегою
рабочие лежат.
И слышит
 шепот гордый
вода
 и под
 и над:
«Через четыре
 года

здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Свела
проmozглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотъмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
„Гигант“.

Здесь
встанут
стройки
стенами.

Гудками,
пар,
сипи.

Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.

Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная,
попятится тайга».

Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цветь,

когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

<НЕОКОНЧЕННОЕ>

<I>

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю разломавши
так рвут загадав и пускают
по маю
венчики встречных ромашек
Пускай седины обнаруживает стрижка
и бритье
Пусть серебро годов вызванивает
уймою
надеюсь верую вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие

<II>

Уже второй
должно быть ты легла
А может быть
и у тебя такое
Я не спешу
И молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить

<III>

море уходит вспять
море уходит спать

Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете
И не к чему перечень
взаимных болей бед и обид

<IV>

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей бед и обид
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданию

<V>

Я знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут ложи
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек
Бывает выбросят не напечатав не издав
Но слово мчится подтянув подпруги
звонит века и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки
Я знаю силу слов Глядится пустяком
Опавшим лепестком под каблуками танца
Но человек душой губами костяком

(1928—1930)

ПОЭМЫ





ОБЛАКО В ШТАНАХ

ТЕТРАПТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъяздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрóбив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры лóжит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,

горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,

взволнованный,
четкий.
Теперь и он, и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:

вы — Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздражили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня малó.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.

Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

Славьте меня!
 Я великим не чета.
 Я над всем, что сделано,
 ставлю «nihil»¹.

Никогда
 ничего не хочу читать.
 Книжки?
 Что книжки!

Я раньше думал —
 книги делаются так:
 пришел поэт,
 легко разжал уста,
 и сразу запел вдохновенный протак —
 пожалуйста!
 А оказывается —
 прежде чем начнет петься,
 долго ходят, размозолев от брожения,
 и тихо барахтаются в тине сердца
 глупая вобла воображения.
 Пока выкипчивают, рифмами пиликаая,
 из любвей и соловьев какое-то варево,
 улица корчится безъязыкая —
 ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
 возгордясь, возносим снова,
 а бог
 города на пашни
 рушит,
 мешая слово.

Улица мўку молча пёрла.
 Крик торчком стоял из глотки.
 Топорщились, застрявшие поперек горла,
 пухлые taxi² и костлявые пролетки.
 Грудь испешеходили.
 Чахотки плоче.

¹ «Ничто» (лат.).

² Такси (фр.).



Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Крупны и Крупники
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея, —

«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гёте!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стена,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жи́лы и муску́лы — моли́тв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

Но мне —
люди,
и те, что обидели, —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде:
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда, брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть: «Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —

смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отжаться:
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи,
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закившие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.



Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршню обрызганных предательством звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеv.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человеческом месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрести
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухаает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,

я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосуллек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,

простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобрившие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Сушишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской мўки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всеильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
вправе ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914—1915



ФЛЕЙТА- ПОЗВОНОЧНИК

ПРОЛОГ

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.

Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

Версты улиц взмахами шагов мну.
 Куда уйду я, этот ад тая!
 Какому небесному Гофману
 выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы ўзки.
 Праздник нарядных черпал и чёрпал.
 Думаю.
 Мысли, крови сгустки,
 больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
 чудотворцу всего, что празднично,
 самому на праздник выйти не с кем.
 Возьму сейчас и грохнусь навзничь
 и голову вывозжу каменным Невским!
 Вот я богохулил.
 Орал, что бога нет,
 а бог такую из пекловых глубин,
 что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
 вывел и велел:
 люби!

Бог доволен.
 Под небом в круче
 измученный человек одичал и вымер.
 Бог потирает ладони ручек.
 Думает бог:
 погоди, Владимир!
 Это ему, ему же,
 чтоб не догадался, кто ты,
 выдумалось дать тебе настоящего мужа
 и на роль положить человечьи ноты.
 Если вдруг подкрасться к двери спяленной,
 перекрестить над вами стёганье одеялово,
 знаю —
 запахнет шерстью паленой,
 и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего
 в ужасе, что тебя любить увели,
 метался

и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро содохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвергуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —

убери проклятую ту,
которую сделал моей любимую!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубь,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!

Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я —
ведят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат
и на царя вселенной,
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
веду народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилаась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творишь, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —

в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятением разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое расколосся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо,
уйду,
хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашёй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона еврея.

В муке
перед той, которую отдал,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

1915





Л Ю Б Л Ю

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена, —
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на́ день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело — рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожа.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

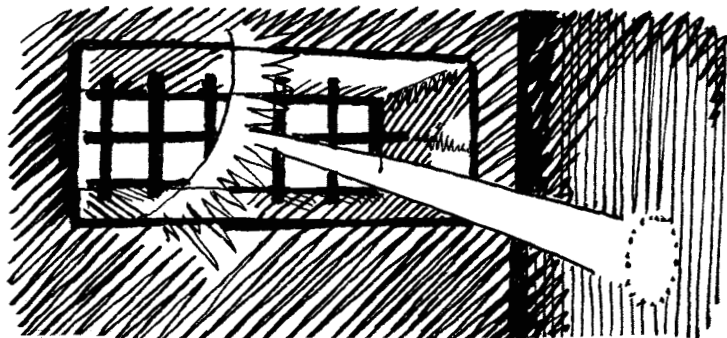
МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людыё
трусами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатъём под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не занает.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем

квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.



Глядят ежедневное солнце,
зазнаются.
«Чего — мол — стоят лученышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знает.
Делите.
Множите.
Склоняете чудно.
Ну и склоняйте!

Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человеческий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночевкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских большие вопросы:
— Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после

о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстную площадью лежа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.

О, сколько их,
одних только весен,
за 20 лет в распаленного ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комочек сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и все же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда, кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как села
в пожар
созывают набатом —
я звал:

«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом, —
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго бы...»
Нести не могу —
и несую мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.

Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полно́чи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну а меня к тебе и подавней
— я же люблю! —
тянет и клонит.

Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, —
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

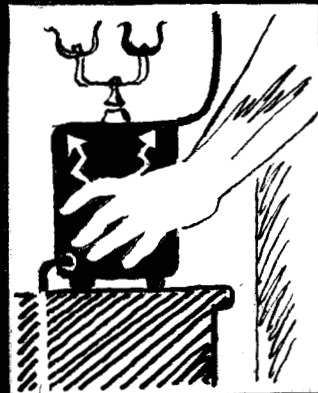
ВЫВОД

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922



67-70!
СОЕДИНИТЕ!



ПРО ЭТО

ПРО ЧТО — ПРО ЭТО?

В этой теме,
 и личной
 и мелкой,
перепетой не раз
 и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
 сейчас
 и молитвой у Будды,
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс
 и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
 сейчас
 скрипит
 про то ж.
Эта тема придет,
 калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
 прикажет:
 — Скреби! —

И калека
с бумаги
срывается в клетоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —
Эта тема придет,
велит:
— Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
— А —
недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не износится,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знамени.
Это хитрая тема!
Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и, как будто ярясь
— посмели забыть ее! —
затрясет;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявила гневная,

приказала:
 — Подать
 дней удила! —
 Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
 и грозой раскидала людей и дела.
 Эта тема пришла,
 остальные оттерла
 и одна
 безраздельно стала близка.
 Эта тема ножом подступила к горлу.
 Молотобоец!
 От сердца к вискам.
 Эта тема день истемнила, в темень
 колотись — велела — строчками лбов.
 Имя
 этой
 теме:
 !

I

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Стоял — вспоминаю.
 Был этот блеск.
 И это
 тогда
 называлось Невоею.

Маяковский. «Человек»
 (13 лет работы, т. 2, стр. 77)

О балладе
 и
 о балладах

Немолод очень лад баллад,
 но если слова болят
 и слова говорят про то, что болят,
 молодеет и лад баллад.
 Лубянский проезд.

Водопьяный.

Вид

вот.

Вот

фон.

В постели она.

Она лежит.

Он.

На столе телефон.

пулей
 летел
 барышне.
 Смотрел осовело барышнин глаз —
 под праздник работай за двух.
 Красная лампа опять зажглась.
 Позвонила!
 Огонь потух.
 И вдруг
 как по лампам пошло куролесить,
 вся сеть телефонная рвется на нити.
 — 67—10!
 Соедините! —
 В проулок!
 Скорей!
 Водопьяному в тишь!
 Ух!
 А то с электричеством станется —
 под Рождество
 на воздух взлетишь
 со всей
 со своей
 телефонной
 станцией.
 Жил на Мясницкой один старожил.
 Сто лет после этого жил, —
 про это лишь —
 сто лет! —
 говаривал детям дед.
 — Было — суббота...
 под воскресенье...
 Окорочок...
 Хочу, чтоб дешево...
 Как вдарит кто-то!..
 Землетрясень...
 Ноге горячо...
 Ходун — подошва!.. —
 Не верилось детям,
 чтоб так-то
 да там-то.
 Землетрясень?
 Зимой?
 У почтамта?!



Телефон
бросается
на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков грома тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,

звнящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.

Звончочки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.

Об пол с потолка звончище хлопал.
И снова,
звнящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись об пол,
и сыпало вниз дребезгою звончочной.
Стекло за стеклом,

вьюшку за вьюшкой
тянуло
звенеть телефонному в тон.

Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.



Секун-
дантша

От сна

чуть видно —

точка глаз

иголит щеки жаркие.

Ленясь, кухарка поднялась,

идет,

кряхтя и харкая.

Моченым яблоком она.

Морщият мысли лоб ее.

— Кого?

Владим Владимыч?!

А! —

Пошла, туфлёю шлепая.

Идет.

Отмеряет шаги секундантом.

Шаги отдаляются...

Слышатся еле...

Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просвет-
ление
мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.

Как были,

рот разинув,

сюда они

смотрят на рождество из рождеств.

Им видима жизнь
от дрызг и до дрызг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
за Москвой поля примолкли.
Моря —
за морями горы стройны.
Вселенная
вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрявился
ровно-ровно.
Тесьма.
Натянут бечевкой тугой.
Край один —
я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.
А между —
такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачайшей ясностью пытка.
В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И всё
вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль Раз!
 Трубку наводят.
 Надежду
 брось.
 Два!
 Как раз
 остановилась,
 не дрогнув,
 между
 моих
 мольбой обволокнутых глаз.
 Хочется крикнуть медлительной бабе:
 — Чего задаетесь?
 Стоите Дантесом.
 Скорей,
 скорей просверлите сквозь кабель
 пульей
 любого яда и веса. —
 Страшнее пуль —
 оттуда
 сюда вот,
 кухаркой оброненное между зевот,
 проглоченным кроликом в брюхе удава
 по кабелю,
 вижу,
 слово ползет.
 Страшнее слов —
 из древнейшей древности,
 где самку клыком добывали люди еще,
 ползло
 из шнура —
 скребущейся ревности
 времен троглодитских тогдашнее чудище.
 А может быть...
 Наверное, может!
 Никто в телефон не лез и не лезет,
 нет никакой троглодичьей рожи.
 Сам в телефоне.
 Зеркалюсь в железе.
 Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
 Пойди — эту правильность с Эрфуртской
 сверь!

Сквозь первое горе
бессмысленный,
ярый,
мозг поборов,
проскрывается зверь.

Что мо-
жет сде-
латься с
человеком!

Красивый вид.
Товарищи!
Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,
почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтём из штиблета.
Вчера человек —
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж?!
В телефоны бабахать?!
К своим пошел!
В моря ледовитые!

Размедве-
женье

Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.

И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,

задравши морду,
как те,

повыть,
извыться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.

Обвал.

Беспокоит.

Винтовки-шишки

не грохнули б враз.

Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекаю- Кровать.
щая комна-
та

Железки.

Барахло одеяло.

Лежит в железках.

Тихо.

Вяло.

Трепет пришел.

Пошел по железкам.

Простынь постельная треплется плеском.

Вода лизнула холодом ногу.

Откуда вода?

Почему много?

Сам наплакал.

Плакса.

Слякоть.

Неправда —

столько нельзя наплакать.

Чертова ванна!

Вода за диваном.

Под столом,

за шкафом вода.

С дивана,

сдвинут воды задеваньем,

в окно проплыл чемодан.

Камин...
 Окуроч...
 Сам кинул.
 Пойти потушить.
 Петушится.
 Страх.
 Куда?
 К какому такому камину?
 Верста.
 За верстою берег в кострах.
 Размыло все,
 даже запах капустный
 с кухни
 всегдашний,
 приторно сладкий.
 Река.
 Вдали берега.
 Как пусто!
 Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
 Река.
 Большая река.
 Холодина.
 Рябит река.
 Я в середине.
 Белым медведем
 взлез на льдину,
 плыву на своей подушке-льдине.
 Бегут берега,
 за видом вид.
 Подо мной подушки лед.
 С Ладоги дует.
 Вода бежит.
 Летит подушка-плот.
 Плыву.
 Лихорадуюсь на льдине-подушке.
 Одно ощущение водой не вымыто:
 я должен
 не то под кроватные дужки,
 не то
 под мостом проплыть под каким-то.
 Были вот так же:
 ветер да я.
 Эта река!..
 Не эта.
 Иная.

Нет, не иная!
Было —
стоял.
Было — блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.
Видней и видней...
Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
Он будет!
Он вот!!!

Человек из-
за 7-ми лет
Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упершись в бока
столицы,
в отчаянье созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше...
Вон!
Вон —
опершись о перила моста...
Прости, Нева!
Не прощает,
гонит.
Сжался!
Не сжалился бешеный бег.
Он!
Он —
у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!

Я слышу
 мой,
 мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
 он молит,
 он просится:
— Владимир!
 Остановись!
 Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
 броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
 Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
 когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
 Ешь?
 Отпускаешь брюшко?
Сам
 в ихний быт,
 в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
 Рука наклоняется вниз его.
Грозится
 сухой
 в подмостную кручу.
— Не думай бежать!
 Это я
 вызвал.
Найду.
 Загоню.
 Доконаю.
 Замучу!
Там,
 в городе,
 праздник.
 Я слышу гром его.

Так что ж!

Скажи, чтоб явились они.
Постановлење неси исполкомово.
Муку мою конфискуй,
отмени.



Пока
по этой
по Невской
по глубин
спаситель-любовь
не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовых камней!

Спасите! Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далёко.
Я, может быть, за́ день.
За де́нь
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
— Забыть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». —
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит —
не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
на мосту
на Неве
человек!

II
НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

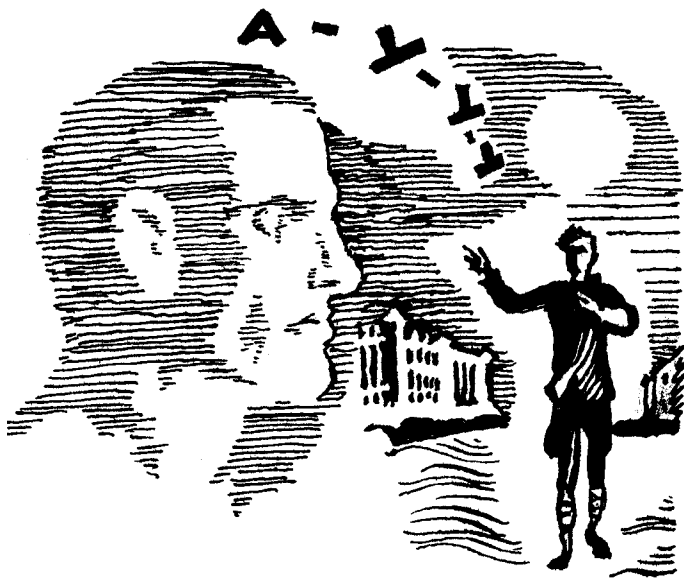
Фантастическая реальность

Бегут берега —
 за видом вид.
Подо мной —
 подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
 льдышка-плот.
Спасите! — сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добытый.
Речка кончилась —
 мореросло.
Океан —
 большой до обиды.
Спасите!
 Спасите!..
 Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
 подо мной
 растет квадрат,
остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
 замирает гул.
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
 Я —
 на снегу.
Кругом —
 вёрсты суши.
Суша — слово.
 Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
 Какой это край?
Грен-
 лап-
 люб-ландия?

Большая были Из облака вызрела лунная дынка,
стену постепенно в тени оттеня.

Парк Петровский.
Бегу. Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матерщины.
«От нэпа ослеп?!
Для чего глаза впряжены?!
Эй, ты!
Мать твою разнэп!
Ряженный!»
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо —
прохожим,
что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель Вон
от заставы
идет человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
голову вправила в венчик.
Я уговорю,
чтоб сейчас же,
чтоб в лодке.
Это — спаситель!
Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
венчанный в луне.
Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Иисус.
Нежней.
Юней.



Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте —
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел к Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.

Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.
Для чего?

Зачем?

Кому?

Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте...

Кончаю...

Прошу не винить...

Ничего не
поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.

Но надо ж!

Дернулся к луже.

Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!

Тому еще хуже —

семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле —

другого калибра.

Никак не намылишься —

зубы стучат.

Шерстицу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...

бритвой луча...

Почти,

почти такой же самый.

Бегу.

Мозги шевелят адресами.

Во-первых,

на Пресню,

туда,

по задворкам.

Тянет инстинктом семейная норка.

Всехные
родители

За мной
 всероссийские,
 теряясь точкой,
сын за сыном,
 дочка за дочкой.

— Володя!
 На Рождество!
Вот радость!
 Радость-то во!.. —
Прихожая тьма.
 Электричество комната.

Сразу —
 наискось лица родни.
— Володя!
 Господи!
 Что это?
 В чем это?

Ты в красном весь.
 Покажи воротник!
— Не важно, мама,
 дома вымою.

Теперь у меня раздолье —
 вода.

Не в этом дело.
 Родные!
 Любимые!

Ведь вы меня любите?
 Любите?
 Да?

Так слушайте ж!
 Тетя!
 Сестры!
 Мама!

Тушите елку!
 Заприте дом!

Я вас поведу...
 вы пойдете...
 Мы прямо...

сейчас же...
 все
 возьмем и пойдём.

Не бойтесь —
 это совсем недалёко —

600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.

Мы вылезем прямо на мост.

— Володя,
родной,
успокойся! —

Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!

Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

Путешест-
вие с ма-
мой

Не вы —

не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьейю засеяна.

Смотрите,
мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.

Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.

Сейчас летите, мотором урча, вы:

Париж,
Америка,
Бруклинский мост,

Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.

Сомнете периной
и волю
и камень.

Коммуна —
и то завернется комом.

Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!

Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

Вы
под его огнepым крылом
расставились,
разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступеней последок.
— Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любовишка насекомых!

**Пресненские
миражи**

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скалы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и го́ло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроаясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.

Но самое страшное:
по росту, по коже,
одеждой, сама походка моя! —
в одном узнал —
близнецами похожи —



себя самого —

сам
я.

С матрацев,

вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух

веночки
с обоев

венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,

приподняв
венок тернистый,

любезно кланяется.

Маркс,

впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были

сидя сняты
на корточках,

радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,

ослабились враз;
кто басом фразу,

кто в дискант
дьячком.

— С праздничком!

С праздничком!

С праздничком!

С праздничком!

С праз-

нич-

ком! —

Хозяин

то тронет стул,

то дунет,

сам со скатерти крошки вымел.

— Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бесмыс-
ленные
просьбы

Мои свои?!
Д-а-а-а —
это особы.
Их ведьма разве сыщёт на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби
идут сейчас,
следят четвереньки.
Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой —
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там...
Я брал слова
то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
то вызвоня лирово.
От выгод —
на вечную славу сворачивал,
молил,
грозил,
просил,
агитировал.
— Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...

Но можно стихи...
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..
Потом у камина...
там кофе...
курят...
Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать может...
Сказать —
надеясь!..
Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
— Поооостой...
поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...
Я знаю...
Это на углу Кузнецкого Моста.
Пустите!
Ну-кося! —
По углам —
зуд:
— Наззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за 66!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.

Налей,
 нарежь ему.
 Футурист,
 налягте-ка! —
 Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
 пошли греметь о челюсть челюстью.
 Шли
 из артезианских прорв
 меж рюмкой
 слова поэтических споров.
 В матрац,
 поздоровавшись,
 влезли клопы.
 На вещи насела столетняя пыль.
 А тот стоит —
 в перила вбит.
 Он ждет,
 он верит:
 скоро!
 Я снова лбом,
 я снова в быт
 вбиваюсь слов напором.
 Опять
 атакую и вкривь и вкось.
 Но странно:
 слова проходят насквозь.

Необычай-
 ное

Стихает бас в комариные трельки.
 Подбитые воздухом, стихли тарелки.
 Обои,
 стены
 блёкли...
 блёкли...
 Тонули в серых тонах офортовых.
 Со стенки
 на город разросшийся
 Бёклин
 Москвой расставил «Остров мертвых».
 Давным-давно.
 Подавно —
 теперь.
 И нету прощя!

Вон
 в лодке,
 скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
 не то поля —
их шорох тишью стерт весь.
А за морями —
 тополя
возносят в небо мертвость.
Что ж —
 ступлю!
 И сразу
 тополи
сорвались с мест,
 пошли,
 затопали.
Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
 милиционерами.
Расчетверившись,
 белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться
некуда

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
 исчезает все,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
 в сон
войдут,
 и сразу вспомнится,
что вот тоска
 и угол вон,
за ним
 она —
 виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
 на карты окон легла.
Очко стекла —
 и я проиграю.

Арап —
 миражей шулер —
 по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
 торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
 вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
 никни к стённой сырости.
И стих
 и дни не те.
Морозят камни.
 Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
 снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
 убив,
 Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостьё идет по лестнице...
Ступеньки бросил — стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться
и слышу —
 струны тенькают.
Быть может, села
 вот так
 невзначай она.
Лишь для гостей,
 для широких масс.
А пальцы
 сами
 в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья А вóроны гости?!
 Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.

Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное дѡпьяна.
Полоса
щели.
Голосá
еле:
«Аннушка —
ну и румянушка!»
ПирогИ... Печка...
Шубу... Помогает...
С плечика...
Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:
«Что это вы так развеселились?
Разве?!»
Слѣлись...
Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны —
особенно сразу.
Слова так
(не то чтоб со зла):
«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».
Да,
их голосá.
Знакомые выкрики.
Застыл в узнаванье,
расплющился, нем,
фразы крою по выкриков выкройке.
Да —
это они —
они обо мне.
Шелест.
Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
Вот смешно-то!»
И снова
в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.

И снова
 пьяное:
 «Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?»
«Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
 а только хрустнул».

И снова
 хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
 стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б
не ты

Стою у стенки.
 Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
 я год обыденщине прёдал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
 жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
 решишь
 с этажей
 в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
 Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
 лишь шагами ночными —
строчишь,
 и становятся души строчными,
и любишь стихом,
 а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
 не умею.
Но где, любимая,
 где, моя милая,
где
 — в песне! —
 любви моей изменил я?

Здесь
 каждый звук,
 чтоб признаться,
 чтоб кликнуть.
 А только из песни — ни слова не выкинуть.
 Вбегу на трель,
 на гаммы.
 В упор глазами
 в цель!
 Гордясь двумя ногами,
 Ни с места! — крикну. —
 Цел! —
 Скажу:
 — Смотри,
 даже здесь, дорогая,
 стихами грома обыденщины жуть,
 имя любимое оберегая,
 тебя
 в проклятьях моих
 обхожу.
 Приди,
 разотзовись на стих.
 Я, всех оббежав, — тут.
 Теперь лишь ты могла б спасти.
 Вставай!
 Бежим к мосту! —
 Быком на бойне
 под удар
 башку мою нагнул.
 Сборю себя,
 пойду туда.
 Секунда —
 и шагну.

Шагание
стиха

Последняя самая эта секунда,
 секунда эта
 стала началом,
 началом
 невероятного гуда.
 Весь север гудел.
 Гудения мало.
 По дрожи воздушной,
 по колебанию

догадываюсь —
 оно над Любанью.
По холоду,
 по хлопанью дверью
догадываюсь —
 оно над Тверью.
По шуму —
 настежь окна раскинул —
догадываюсь —
 кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское зálлил.
На Николаевском теперь
 на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
 ступени
пошли,
 поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошел.
 В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь всё и разгуживаясь,
взорвался,
 пригвоздил:
 — Стой!
Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
 Нет!
Пришел повелеть:
 Оставь!
Оставь!
 Не надо
 ни слова,
 ни просьбы.
Что толку —
 тебе
 одному
 удалось бы?!Жду,
 чтоб землей обезлюбленной
 вместе,

чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смѣх,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.

Ротонда Стены в тустепе ломались
на три,
на четверть тона ломались,
на стб...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
все, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
— Русский! —
Женщины —
мяса и тряпок вязанки —
смеются,
стащить стараются
за ноги:
«Не пойдем.
Дудки!
Мы — проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!

Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Терекон
праздник
Москва.
Вздывается волос.
Лягушкою тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

Повторение Руки крестом,
пройденного крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.



Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьей ленты
со всей вселенной сигналом согнало.

Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нешадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеца!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
— Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не праздной труса! —

Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальной!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...
ПРОШУ ВАС, ТОВАРИЩ ХИМИК,
ЗАПОЛНИТЕ САМИ!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.

Мир
хотел бы
в этой груди горя
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.

Может,
 я стихами выхлебаю дни,
 и не увидав токарного станка.
 Но дыханием моим,
 сердцебиеньем,
 голосом,
 каждым острием вздыбленного в ужас
 волоса,
 дырами ноздрей,
 гвоздями глаз,
 зубом, искрежещенным в звериный лязг,
 ёжью кожи,
 гнева брови сборами,
 триллионом пор,
 дословно —
 всеми пбрами
 в осень,
 в зиму,
 в весну,
 в лето,
 в день,
 в сон
 не приемлю,
 ненавижу это
 все.
 Все,
 что в нас
 ушедшим рабьим вбито,
 все,
 что мелочинным роем
 оседало
 и осело бытом
 даже в нашем
 краснофлагом строе.
 Я не доставлю радости
 видеть,
 что сам от заряда стих.
 За мной не скоро потянете
 об упокой его душу таланте.
 Меня
 из-за угла
 ножом можно.
 Дантесам в мой не целить лоб.

Четырежды состарюсь — четырежды
омоложенный,
до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достойн лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
смерть есть смерть.
Страшно — не любить,
ужас — не сметь.
За всех — пуля,
за всех — нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите —
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.
Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом
в жизнь загробную
начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

Вера Пусть во что хотите жданья удлинятся —
 вижу ясно,
 ясно до галлюцинаций.
 До того,
 что кажется —
 вот только с этой рифмой
 развяжись,
 и вбежишь
 по строчке
 в изумительную жизнь.
 Мне ли спрашивать —
 да эта ли?
 Да та ли?!
 Вижу,
 вижу ясно, до деталей.
 Воздух в воздух,
 будто камень в камень,
 недоступная для тленов и крошений,
 рассыавшись,
 выситя веками
 мастерская человечьих воскрешений.
 Вот он,
 большелобый
 тихий химик,
 перед опытом наморщил лоб.
 Книга —
 «Вся земля», —
 выискивает имя.
 Век двадцатый.
 Воскресить кого б?
 — Маяковский вот...
 Поищем ярче лица —
 недостаточно поэт красив. —
 Крикну я
 вот с этой,
 с нынешней страницы:
 — Не листай страницы!
 Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи!
 Крови́цу —
 до последних
 жил.

Я свое, земное, не дожёл,
на земле

свое не долюбил.

Был я сажень ростом.

А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.

Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.

Что хотите, буду делать даром —

чистить,

мыть,

стеречь,

мотаться,

месть.

Я могу служить у вас

хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Был я весел —

толк веселым есть ли,

если горе наше непролазно?

Нынче

обнажают зубы если,

только чтоб хватить, чтоб

лязгнуть.

Мало ль что бывает —

тяжесть

или горе...

Позовите!

Пригодится шутка дурья.

Я шарадами гипербол,

аллегорий

буду развлекать,

стихами балагурия.

Я любил...

Не стоит в старом рыться.

Больно?

Пусть...

Живешь и болью дорожась.

Я зверье еще люблю —

у вас

зверинцы

есть?

Пустите к зверю в сторожа.



Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
из себя сплошная плешь, —
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

Любовь Может,
 может быть,
 когда-нибудь,
 дорожкой зоологических аллей
 и она — она зверей любила —
 тоже ступит в сад,
 улыбаясь,
 вот такая,
 как на карточке в столе.
 Она красивая —
 ее, наверно, воскресят.
 Ваш
 тридцатый век
 обгонит стаи
 сердце раздиравших мелочей.
 Нынче недолуженное
 наверстаем
 звездностью бесчисленных ночей.
 Воскреси
 хотя б за то,
 что я
 поэтом
 ждал тебя,
 откинул будничную чушь!
 Воскреси меня
 хотя б за это!
 Воскреси —
 свое дожить хочу!
 Чтоб не было любви — служанки
 замужество,
 похоти,
 хлебов.
 Постели прокляв,
 встав с лежанки,
 чтоб всей вселенной шла любовь.
 Чтоб день,
 который горем старяц,
 не христарадничать, моля.
 Чтоб вся
 на первый крик:
 — Товарищ! —
 обращивалась земля.

Чтоб жить
 не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
 в родне
 отныне
 стать
отец,
 по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, — мать.

1923





Засадил садик мило,
дочка,
 дача,
 водь
 и гладь —
сама садик я садил,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
 набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
 мудреватые Кудрейки, —
кто их, к черту, разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»
Неважная честь,
 чтоб из таких роз
мои изваяния высились
по скверам,
 где харкает туберкулез,
где б.... с хулиганом
 да сифилис.
И мне
 агитпроп
 в зубах навяз,
и мне бы
 строчить
 романсы на вас —
доходней оно
 и прелестней.
Но я
 себя
 смирят,
 становясь
на горло
 собственной песне.
Слушайте,
 товарищи потомки,
агитатора,
 горлана-главаря.
Заглуша
 поэзии потоки,

я шагну
 через лирические томики,
как живой
 с живыми говоря.
Я к вам приду
 в коммунистическое далекó
не так,
 как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
 через хребты веков
и через головы
 поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
 но он дойдет не так, —
не как стрела
 в амурно-лировой охоте,
не как доходит
 к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
 трудом
 громаду лет прорвет
и явится
 весомо,
 грубо,
 зримо,
как в наши дни
 вошел водопровод,
сработанный
 еще рабами Рима.
В курганах книг,
 похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
 с уважением
 ощупывайте их,
как старое,
 но грозное оружие.
Я
 ухо
 словом
 не привык ласкать;
ушку девическому
 в завиточках волоска

как в доме
 собственном
 мы открываем ставни,
но и без чтения
 мы разбиралась в том,
в каком идти,
 в каком сражаться стане.
Мы
 диалектику
 учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
 она врывалась в стих,
когда
 под пулями
 от нас буржуи бегали,
как мы
 когда-то
 бегали от них.
Пускай
 за гениями
 безутешною вдовой
плетется слава
 в похоронном марше —
умри, мой стих,
 умри, как рядовой,
как безымянные
 на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
 на бронзы многопудье,
мне наплевать
 на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
 ведь мы свои же люди, —
пускай нам
 общим памятником будет
построенный
 в боях
 социализм.
Потомки,
 словарей проверьте поплавки:
из Леты
 выплывут
 остатки слов таких,

как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.

И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой

поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 — январь 1930

КОММЕНТАРИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ночь. В ранних стихах Маяковского еще сказывается влияние символизма, в частности цветовой символики: желтый цвет выражает тревогу, синий — цвет измены (с другой стороны, багровый и белый — просто признаки уходящего дня, хотя противопоставление белого и черного в стихотворении также символично; зеленый — по-видимому, городская зелень, освещаемая желтым светом из окон, напоминающим о золотых монетах — дукатах). Мотив всеобщего смеха косвенно связан с романтическим и неоромантическим мотивом безумия, в данном случае охватывающего всех.

Ничего не понимают. *Рыжий!* — Здесь имеется в виду клоунское амплу, цирковой тип «рыжего», нелепого шута. Ср. в стихотворении «А все-таки»: «выжженный квартал // надел на голову, как рыжий парик» — и в поэме «Облако в штанах»: «меня, / сегодняшнего рыжего...». Осмеиваемый толпой автобиографический герой везде выступает как фигура трагическая.

Несколько слов обо мне самом — последнее (четвертое) стихотворение цикла «Я».

Мама и убитый немцами вечер. *Газет* — шелковая ткань с перечными золотыми или серебряными нитями, иногда с цветочным либо орнаментальным рисунком.

...закройте глаза газет! — Сложная метафора Маяковского означает призыв прекратить войну как массовое убийство: в газетах печатались списки убитых, прекращение смертей воюющих вызвало бы «смерть» этих списков (закрытые «глаза»).

Варшава, Ковна. — Столица Польши и второй по величине город Литвы (Каунас) упомянуты в связи с боевыми действиями, которые разворачивались в непосредственной близости к ним, входившим в состав Российской империи.

Скрипка и немножко нервно. *Кузнецкий* — Кузнецкий Мост, торговая улица в центре Москвы (ср. в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»).

Я и Наполеон. *Солнце Аустерлица.* — На рассвете 2 декабря 1805 года Наполеон приветствовал восходящее солнце того дня, когда он разгромил союзную русско-австрийскую армию. Эту победу Наполеон считал самой замечательной из своих побед.

Он раз чуме приблизился тронем... — Будущий французский император во время Египетского похода 1799 года посетил в Яффе чумной госпиталь и, по легенде, для ободрения больных пожал одному из них руку.

Аркольский мост. — Во время сражения с австрийцами под Лоди в Италии (1796) молодой генерал Бонапарт во главе батальона гренадер бросился вперед на трехсотметровый мост через реку Адду, простреливаемый картечью, и обеспечил победу своим бесстрашием.

Гимн критике. *Сапа* — ров, траншея (или способ их рытья) для безопасного приближения к осажденной крепости (отсюда — сапер). Здесь в переносном смысле.

Построчный пятак — пять копеек (метонимическое обозначение небольшой суммы) за строку в газете.

Ницца — курортный город во Франции на Средиземном море (ср. в «Облаке в штанах»: «Не верю, что есть цветочная Ницца!»).

Гимн обеду. *Реймс* — город во Франции. Знаменитый готический Реймский собор, в котором короновались французские короли, в сентябре 1914 года был разрушен немецкой артиллерией.

Пуляры — пулярки (фр.).

Чудовищные похороны. ...*Изыдавшийся Гаршин*. — Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — писатель, изображавший людей в экстремальных ситуациях, в предельном психическом напряжении; покончил с собой во время приступа душевной болезни.

Мое к этому отношении. *Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934) — издатель-просветитель, владелец крупнейшего в России книгоиздательства. У Маяковского ради каламбура — олицетворение преуспеяния.

Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893) — поэт. Отличался исключительной тучностью.

Лиличка! Вместо письма. Опубликовано посмертно, в 1934 году, несмотря на демонстративную откровенность Маяковского-поэта в отношении своей личной жизни.

...*глава в крученыховском аде*. — Имеется в виду поэма футуристов-«заумников» А. Е. Крученых и В. В. Хлебникова «Игра в аду».

Надоело. *Анненский* Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, тонкий психолог, которого А. А. Ахматова считала предшественником крупнейших поэтов-постсимволистов, включая таких разных, как она сама, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак, В. В. Хлебников, Маяковский. В данном стихотворении Маяковского, однако, Анненский вместе с Ф. И. Тютчевым и А. А. Фетом — представитель «чистой поэзии», после которой автора тянет к людям, в сутолоку жизни.

«*Простое как мычание*» — название первого сборника стихов Маяковского (не считая литографированной книжки из четырех стихотворений «Я!», 1913), вышедшего в 1916 году.

Дешевая распродажа. *Надеждинская* — улица в Петрограде, на которой жил Маяковский. В советское время была переименована в его честь.

Себе, любимому, посвящает эти строки автор. *Дант / или Петрарка*. — Данте Алигьери (1265—1331) — крупнейший поэт позднего Средневековья, создатель итальянского литературного языка. Петрарка Франческо (1304—1374) — наиболее значительный поэт Раннего итальянского Возрождения, родоначальник гуманистической культуры.

Последняя петербургская сказка. *Трое медных* — бронзовая группа, составляющая памятник Петру Первому (Медный всадник):

фигура Петра, вздыбленный конь и попираемая им змея (аллегория побежденного зла, враждебного начала).

Сенат — здание Сената и Синода (архитектор К. И. Росси). Посреди Сенатской площади установлен памятник Петру Первому. У Маяковского «не спугнуть Сенат» метонимически означает «не спугнуть сенаторов».

Гренадин — прохладительный напиток, обычно пьется через соломинку.

Революция. Поэтохроника. *Волынский полк* — первый полк Петроградского гарнизона, в феврале 1917 года перешедший на сторону революции.

В Военной автомобильной школе во время мировой войны проходил службу Маяковский.

Марат Жан Поль (1743—1793) — один из лидеров якобинцев, крайне левых деятелей Великой французской революции. Маяковским упомянут как воплощение революционной мстительности.

Ода революции. *Блаженный* — Покровский собор (народное название — храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве, пострадавший от обстрела Кремля большевиками.

...в Гельсингфорсе — в Хельсинки, столице Финляндии, до конца 1917 года входившей в состав России на правах автономии.

Левый марш. *Британский лев.* — Изображение льва входит в герб Великобритании (ср. упоминание паспортов «с двухспальным английским левою» в «Стихах о советском паспорте»).

Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума. Барон *Врангель* Петр Николаевич (1878—1928) — генерал-лейтенант, преемник А. И. Деникина на посту главнокомандующего Вооруженными силами Юга России (с апреля 1920 года). Последним оплотом врангелевской армии стал Крым.

Старая, но полезная история. Стихотворение написано до того, как врангелевские войска были выбиты из Крыма (ноябрь 1920 года), но опубликовано лишь в 1922 году, отчего и понадобился этот подзаголовок.

Ай-Петри — вершина главной гряды Крымских гор (1233 м над уровнем моря).

О дряни. *Слава, Слава, Слава героям!!!* — Маяковский отталкивается от собственных слов «Во веки веков, товарищи, / вам // слава, слава, слава!», заключающих стихотворение «Последняя страничка Гражданской войны», напечатанное перед стихотворением «О дряни» в 1-м номере журнала «Бов» (1921).

Намозолив от пятилетнего сидения зады... — Вторая редакция стихотворения появилась в 1922 году, когда после Октябрьской революции прошло пять лет.

К празднику прибавка — / 24 тыщи. — В начале 1920-х годов в Советской России была огромная инфляция (см. «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе»). 24 тысячи рублей — сумма небольшая («тариф»).

Реввоенсовет — орган высшей военной власти в РСФСР (и затем

в СССР) в 1918—1934 годах. Руководил строительством советских Вооруженных сил. Во время Гражданской войны и в первое время после нее председателем Реввоенсовета был нарком по военным и морским делам Л. Д. Троцкий. Упоминание «бала» в Реввоенсовете говорит о том, что герой стихотворения «О дряни» — крупный советский чиновник. Троцкий любил роскошь, и его окружение тоже многое себе позволяло.

«*Известия*» — газета, издававшаяся Всероссийским центральным исполнительным комитетом Советов, печатавшая основные государственные документы.

Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе. «*Чистка!*» — чистки партии — периодически проводившиеся в 1921—1936 годах особыми комиссиями кампании по массовому исключению из коммунистической партии недостойных лиц.

Прозаседавшиеся. *Тео* — театральная часть Главполитпросвета. *Гукон* — Главное управление коннозаводства при Народном комиссариате земледелия. В 1921 году обсуждался проект грандиозной театральной постановки с участием всех родов войск, включая конницу. Одно время заместителем председателя Тео был режиссер С. Н. Кель, впоследствии возглавивший отдел в Гуконе.

Тамара и Демон. *Тамара* — роковая женщина, царича, убивавшая своих возлюбленных, из одноименной баллады М. Ю. Лермонтова (1841). Маяковский соединил ее образ с образом героини лермонтовской поэмы «Демон».

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — нарком просвещения в 1917—1929 годах.

Коган Петр Семенович (1872—1932) — профессор-филолог, при основании Государственной академии художественных наук (1921) избран ее президентом («*пред искусств*»).

«*Красная нива*» — иллюстрированный литературно-художественный массовый еженедельник (1923—1931).

Юбилейное. Написано к 125-летию со дня рождения А. С. Пушкина в форме обращения к памятнику Пушкина в Москве, стоявшему первоначально на Тверском бульваре («На Тверском бульваре / очень к вам привыкли»). В 1950 году памятник перенесен на другую сторону улицы Горького (Тверской), на площадь, получившую название Пушкинской.

Навуходносор — упоминаемый в Библии царь Вавилона, завоеватель, известный непомерной гордостью.

«*Кoopсах*» — кооператив сахарной промышленности. На его синих вывесках изображалась голова в оранжевых лучах («Синемордое, / в оранжевых усах»).

Red u White Star'ы // с ворохом / разнообразных виз — этикетки марочных вин.

...*вы на Пе, / а я / на ЭМ.* — С. А. Есенин, в «Юбилейном» охарактеризованный нелепно, однажды пошутил: «Вам, Маяковский, удивительно повезло, всего две буквы отделяют от Пушкина... — И после паузы: — Только две буквы! Но зато какие — „НО“!»

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт «гражданской скорби», эпигон Некрасова. Его большая популярность среди интеллигенции оценивалась в Серебряном веке как признак упадка поэтического вкуса.

Дорогойченко А. Я., *Герасимов* М. П., *Кириллов* В. Т., *Родов* С. А., *Безыменский* А. И. — слабые «пролетарские» поэты.

Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — товарищ Маяковского, поэт-«лефовец». В 1920-е годы читатели нередко предпочитали его стихи стихам Маяковского. В дальнейшем талант Асеева увял.

Жиркость — трест, продукцию которого бранит пациент профессора Преображенского, чьи волосы она сделала зелеными, в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» (1925). Возможно, это скрытая полемика с Маяковским, предлагающим в «Юбилейном» Пушкину заняться рекламой Жиркости.

Верлен и *Сезанн*. *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт, особенно авторитетный для символистов. *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский художник-постимпрессионист.

Виардо — Виардо-Гарсия Мишель Полина (1821—1910) — французская певица, ради которой И. С. Тургенев весьма значительную часть жизни прожил во Франции.

Рудин — герой одноименного романа Тургенева (1855), погибший на парижских баррикадах.

ГУС — Государственный ученый совет Народного комиссариата просвещения.

Вардин (Мгеладзе) Илларион Виссарионович (1890—1941) — критик, активный деятель ВАППа.

Ван Гог Винсент (1853—1890) — голландский художник-постимпрессионист, в последние годы жил во Франции.

АХРР — Ассоциация художников революционной России.

«*Ротонда*» — парижское кафе, излюбленное богемой.

6 монахинь. ...со Львом и с Пием. — Имеются в виду папы римские Лев XIII и Пий IX.

Мелкая философия на глубоких местах. *Стеклов* (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873—1941) — главный редактор «Известий ЦИК».

Блэк энд уайт. Блэк энд уайт — черное и белое (англ.).

Коларио — цветы.

Ведадо — загородный богатый квартал Гаваны (Куба).

«*Эври Клей энд Бок, лимитед*» — табачная фирма.

Прадо — главная улица Гаваны.

Масео Антонио (1845—1896) — один из руководителей борьбы за независимость на Кубе.

«*Ай бэг ёр пэрдон*» — прошу прощения (англ.).

Христофор Колумб. *Сион* — холм в Иерусалиме, где, по Библии, был дворец царя Давида, а также храм бога Яхве. Дал название движению сионизма (с конца XIX века) — за воссоздание и усиление Еврейского государства. При Х. Колумбе (1451—1506) сионизма, естественно, не было.

Флорины и пезеты — флорентийские и испанские монеты.

щение с требованием уплатить за второе полугодие 1926 года налог в сумме 2335 рублей 75 копеек, он затеял тяжбу с Мосфинотделом, обстоятельно перечислив в заявлении финансовому инспектору издержки своего производства вплоть до расходов на бумагу и «прозодежду», надеваемую при рисовании, и выиграл. Сумму дохода, а следовательно, и налога снизили. Пафос же стихотворного «Разговора...» — социальный: поэт протестует против его приравнивания к торговцам, другим мелким собственникам и лицам «свободных профессий», облагавшимся значительно более высоким налогом, чем рабочие и крестьяне-бедняки. Начав с утверждения места поэта «в рабочем строю», Маяковский все же больше внимания уделил направляющей роли поэзии, сопоставляемой не столько с каждодневным, обыденным трудом, сколько с военными действиями.

...за неподачу деклараций о доходах лица «свободных профессий» штрафовались.

— *Были выезды? / Или выездов нет?* — Выезд — собственный экипаж. В 1926 году у Маяковского еще не было своего автомобиля с шофером.

Бродвейская лампиония — освещение Бродвея в Нью-Йорке, вызывающее восхищение поэта.

Багдадские небеса. — Имеется в виду селение Багдади в Грузии, где Маяковский родился.

Энкапез — Народный комиссариат путей сообщения.

Послание пролетарским поэтам. «Пролетарские» поэты, среди которых были популярны Александр Ильич *Безыменский* (1898—1973), Михаил Аркадьевич *Светлов* (1903—1964), Иосиф Павлович *Уткин* (1903—1944), Александр Алексеевич *Жаров* (1904—1984), не считали Маяковского «пролетарским», относя его к категории «попутчиков» (понятие, введенное Л. Д. Троицким и А. В. Луначарским). Маяковский говорил, что нет двух таких поэтов — Жаров и Уткин, а есть один — Жуткин. Но его «Послание...» 1926 года носит примирительный характер, утверждая творческое многообразие.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку. *Якобсон* Роман Осипович (1896—1982) — филолог, с 1921 года жил за границей. Вышедший в 1918 году том своих стихов Маяковский надписал Якобсону: «Тебе, Ромка, хвали громко».

Ужасающая фамильярность. *Улица Розы* — Розы Люксембург (1871—1919), деятельницы германского, польского и международного рабочего движения, убитой немецкими контрреволюционерами.

Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952) — советский государственный деятель, первая женщина-посол.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — выдающийся театральный режиссер, активный сторонник сценической условности.

Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875—1948) — один из самых замечательных актеров Московского Художественного театра.

Семашко Николай Александрович (1874—1948) — нарком здравоохранения в 1918—1930 годах.

Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому. М. Горький с 1921 года жил за границей. Впервые приехал в СССР в 1928 году, в 1931-м принял решение о возвращении на родину, но лишь в 1933 году переселился окончательно, предав забвению свои разногласия с большевиками.

«*Цемент*» — довольно слабый, но высоко оцененный видными советскими критиками роман (1925) Федора Васильевича Гладкова (1883—1958).

Каллиников (а не *Калинников*, как у Маяковского) Иосиф Федорович (1890—1934) — писатель-эмигрант, опубликовавший в СССР с помощью М. Горького и В. В. Вересаева трехтомный роман «*Мощи*» (1925—1927) о монахах с рядом натуралистических сцен.

Шенгели Георгий Аркадьевич (1894—1956) — поэт, переводчик, стиховед, литературный противник Маяковского (брошюра «*Маяковский во весь рост*», 1927).

Народный артист Республики — первым это звание получил в 1918 году Федор Иванович *Шалапин* (1873—1938), который с 1922 года стал эмигрантом.

...разве не лучше, / как *Феликс Эдмундович*, // сердце / отдать / временам на разрыв. — Ф. Э. Дзержинский (1877—1926), не только возглавлявший карательные органы, но и обремененный многими другими тяжелыми обязанностями, незадолго до написания «*Письма...*» Маяковского умер от разрыва сердца.

Нашему юношеству. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — великий французский поэт, предшественник декадентов. *Маларме* (Малларме) Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. *Костров* Тарас (А. С. Мартыновский, 1901—1930) — редактор газеты «*Комсомольская правда*» и журнала «*Молодая гвардия*». «*Письмо...*» Маяковского появилось в 1-м номере «*Молодой гвардии*» за 1929 год и обращено к молодой рабочей аудитории, которая нередко была склонна отрицать любовь до победы мировой революции. Шутливый тон серьезного стихотворения — форма самозащиты от юных радикалов, ожидавших, что автор «заграничных» стихов прежде всего будет разоблачать капитализм.

Красавица — Татьяна Яковлева.

...наплевать / на купола — на религию и, следовательно, церковный брак.

Письмо Татьяне Яковлевой. Опубликовано только в 1956 году. А. А. Ахматова рассказывала поэту А. Г. Найману: «Когда Роман Якобсон прибыл в Москву в первый раз после смерти Сталина, он был уже мировой величиной, крупнейшим славистом. На аэродроме, у самолетного трапа, его встречала Академия наук, все очень торжественно. Вдруг сквозь заграждения прорвалась Лиля Брик и с криком „Рома, не выдавай!“ побежала ему навстречу... После паузы с легким мстительным смешком: „Но Рома выдал“». Имелась в виду все эти годы скрываемая Бриками парижская любовь Маяковского и его стихи Татьяне Яковлевой.

Стихи о советском паспорте. ...что это за // географические новости? — Королевство Польское входило в состав Российской империи. Государственную независимость Польша обрела в 1918 году.

...паспорта датчан // и разных / прочих / шведов. — Иронически передается невежество чиновника и его пренебрежительное отношение к сравнительно небольшим скандинавским государствам.

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка. У. П. Хренов — участник строительства Кузнецкого металлургического комбината. Показательно, что в одном из последних своих стихотворений Маяковский прославляет не столько индустриализацию, сколько самоотверженных людей, создающих «город-сад».

<Неоконченное>. Строки 3—6 наброска III (строки 5—8 наброска IV) вошли в предсмертное письмо Маяковского в измененном виде: вместо «С тобой мы в расчете» — «Я с жизнью в расчете». Набросок V («Я знаю силу слов я знаю слов набат...») записан вместе с черновым текстом первого вступления в поэму «Во весь голос» и, вероятно, должен был быть использован во втором вступлении, «лирическом».

ПОЭМЫ

Облако в штанах. Первоначальное, не пропущенное цензурой (как и значительная часть текста) заглавие поэмы — «Тринадцатый апостол».

Тетраптих — произведение или композиция из четырех частей. Подзаголовок «Тетраптих» сменил первоначальный — «Трагедия». Автор говорил о «четыре криках четырех частей» поэмы: «Долой в а ш у любовь!», «Долой в а ш е искусство!», «Долой в а ш строй!», «Долой в а ш у религию!».

Химеры // Собора Парижской Богоматери — каменные изваяния чудовищ, украшающие названный собор.

...резкая, как «нате!»... — напоминание о собственном стихотворении 1913 года.

Джиоконда, // которую надо украсть! — Знаменитый портрет Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи в 1911 году был похищен из Лувра. В 1913 году возвращен в музей.

«Лузитания» — пассажирский пароход, торпедированный германской подводной лодкой 7 мая 1915 года и сгоревший в открытом море.

Заратустра (Заратуштра, Зороастр) — пророк и реформатор древнеиранской религии. Зороастризм утверждает зависимость миропорядка от борьбы полярных начал — добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. В начале XX века огромной популярностью пользовался художественный трактат немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900) «Так говорил Заратустра». В философии Ницше критика буржуазной действительности и культуры перерастает в универсальное отчаяние в жизни, утверждается идея сверхчеловека, культ сильной личности; «человек будущего», согласно Ницше, оставляет позади современные пороки и ложь. Эти идеи близки футуристу Маяковскому.

Лепрозорий — изолированное поселение для больных заразной болезнью проказы. Прокаженные — отторгнутые от жизни здоровых людей.

Голгофы аудиторий // Петрограда, Москвы, Одессы, Киева. — Выступления футуристов во время поездки по России в конце 1913 — начале 1914 года вызвали брань и издевательства публики и печати. Маяковский сравнивает свою участь с участью Христа, обреченного народом на распятие.

...сквозь свой /до крика разодранный глаз // лез, обезумев, Бурлюк. — Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), согласно характеристике академика М. Л. Гаспарова, «организатор крайне левой группы футуристов „Гилея“ (1911—1914), художник по специальности и антрепренер-скандалист по призванию». Был слеп на один глаз.

«Пейте какао Ван-Гутена!» — Эту рекламную фразу, как писали газеты, согласился выкрикнуть в момент казни осужденный, семье которого было обещано большое вознаграждение.

Северянин Игорь (И. В. Лотарев, 1887—1941) — исключительно популярный поэт-эгофутурист. Испытал поначалу некоторое влияние Северянина (исполнение стихов с эстрады, составные неологизмы, неточные рифмы), Маяковский вскоре стал относиться к его искусственным «поэзам» и к самой личности самозваного гения весьма критически.

Генерал Галифе Гастон, маркиз де (1830—1909), отличился особой жестокостью при подавлении Парижской коммуны в 1871 году.

Пирует Мамаем, // задом на город насеив — трансформация народного выражения «Мамай прошел». Однако золотоордынский хан Мамай не одержал победу, а потерпел жестокое поражение на Куликовом поле (1380). Маяковский спутал Мамаю с полководцами Чингисхана, впервые разгромившими русские рати на реке Калке в 1223 году и отпраздновавшими победу, сидя на помосте, под который были положены пленные князья и воеводы. А. С. Пушкин в неоконченной поэме, названной В. А. Жуковским «Езерский» (1832—1833), писал, что предок его героя после битвы при Калке был «раздавлен, как комар, // Задами тяжкими татар».

Азеф Евно Фишелевич (1869—1918) — один из организаторов партии эсеров, террорист, оказавшийся провокатором: в 1901—1908 годах выдал полиции многих членов партии и ее «боевую организацию». Стал олицетворением лицемерия и предательства.

Пресня — улица в Москве, на которой жил Маяковский.

Сонеты — стихотворения из четырнадцати строк: двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов), определенным образом зарифмованных. Для Маяковского — явление ненужной поэтической изысканности.

Тиана — героиня одноименного стихотворения Игоря Северянина.

Ки-ка-пу — модный эстрадный танец.

...из северской мўки изважных ваз. — Фарфор, изготавливающийся во французском городе Севре, — предмет роскоши.

Флейта-позвоночник. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик, композитор, художник, воссоздавал в своих произведениях болезненные фантазии.

Гретхен — уменьшительная форма имени Маргарита. Имеется в виду героиня драматической поэмы Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832) «Фауст».

Травиата — героиня одноименной оперы Джузеппе Верди (1813—1901), написанной на сюжет романа и одноименной пьесы Александра Дюма-сына (1824—1895) «Дама с камелиями».

Тебя пою, / накрашенную, / рыжую. — Имеется в виду Л. Ю. Брик.
Стрелка, Сокольники — места прогулок жителей Петрограда и Москвы.

Святая Елена — остров, на котором умер побежденный и сосланный Наполеон.

...победу Пиррову. — Пирр, царь Эпира, государства (кон. IV— III в. до н. э.) на западе Греции, воевавший с римлянами, одержал победу ценой непомерно больших потерь.

Бялик Хаим Нахман (1873—1934) — крупнейший еврейский поэт, в некоторых произведениях проповедовавший сионизм.

Альберт — король Бельгии, захваченной после мужественного беззащитного сопротивления германскими войсками в 1914 году.

Люблю. ...по Мюллеру... — следуя популярному руководству по гимнастике.

Рион — река в Грузии.

Бутырки — Бутырская тюрьма в Москве, где юный Маяковский провел одиннадцать месяцев (1909—1910) в одиночной камере № 103.

Булонский лес — парк на окраине Парижа.

...тетрадные дести. — Десть — единица счета писчей бумаги. Русская десть — 24 листа. Метрическая десть — 50 листов.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — автор учебников истории.

Фридрих I Барбаросса (XII в.) — германский король и император Священной Римской империи. Его прозвище буквально значит «рыжебородый».

Косая сажень — длина диагонали квадрата со стороной в одну сажень (2,13 м), то есть 2,48 м. Традиционная речевая гипербола (в отношении ширины плеч).

...праобраза Мопассанова. — Имеется в виду роман Ги де Мопассана (1850—1893) «Наше сердце». Слово «сердце» — одно из самых частотных у Маяковского. В небольшой поэме «Люблю» это слово и производные от него употреблены 14 раз, в других местах поэмы оно подразумевается.

Крез (Крѣз, VI в. до н. э.) — последний царь Лидии, страны на западе Малой Азии. Его богатство вошло в поговорку.

Про это. В произведениях Ф. М. Достоевского, отголоски которых слышатся в поэме, слово «это» или словосочетание «про это», выделяемые курсивом, означают что-то такое, о чем трудно говорить, в том числе убийство и самоубийство. Поэтому замененное точками в

конце вступительной главы поэмы Маяковского слово — не просто «любовь» (соответственно рифме), но и нечто таинственно-страшное, что лучше не произносить.

Баллада Редингской тюрьмы — название автобиографической поэмы английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900), написанной в тюрьме. Жанр баллады зачастую предполагает изображение страшных событий и практически всегда — психологическую напряженность.

...рвя / кабель, / номер // пулей / летел / барышне. — До распространения автоматической телефонной связи нужно было сообщать номер абонента телефонистке («Барышня!» — обычное обращение к ней).

Эрфуртская программа — единственная после объединительного съезда в Готе марксистская программа Социал-демократической партии Германии, принятая в 1891 году на съезде в Эрфурте.

Бальшин — сосед Маяковского по квартире.

Человек из-за 7-ми лет — автобиографический герой поэмы Маяковского «Человек». Поскольку «Человек» писался в 1916—1917 годах, менее чем за семь лет до поэмы «Про это», высказывалось предположение, что поэт имел в виду также «Флейту-позвоночник» (написано в конце 1916 года), где нашел воплощение исток любовной коллизии, продолженной в последующих поэмах, и где впервые герой готов утопиться («...только б добежать до канала // и голову сунуть воде в оскал»). Герой «Про это» видит своего двойника (себя семь лет назад) стоящим на мосту, как стоял перед самоубийством Свидригайлов в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского.

Быки — промежуточные опоры моста.

600 с небольшим этих крохотных верст — расстояние между Петербургом и Москвой.

Кудринские вышки — Садово-Кудринская улица или Кудринская площадь (площадь Восстания) в Москве.

Нечаянная радость — название второй книги стихов А. А. Блока (1907).

«Мистерия» — утопическая пьеса Маяковского «Мистерия-буфф» (1918, 1921), обыгрывающая библейскую образность.

Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец-символист. На его картине «*Остров мертвых*» изображен мистический перевозчик душ Харон. Автобиографическому герою в его невменяемом состоянии Хароном кажется каждая из *почтамтских колонн* (здание почтамта в Москве находится в конце Мясницкой улицы, на которой жили Брики).

Плевками, / снявши башмаки, // вступаю на ступеньки — то есть герой идет по заплеванным ступенькам. Маяковский после нелепой смерти своего отца стал до болезненности чистоплотен и аккуратен, но здесь его любящий герой преодолевает брезгливость.

Любань, Тверь, Клин, Петровско-Разумовское находятся на шоссе Петербург — Москва. *Николаевский вокзал* — ныне Ленинградский.

Монмартр — район Парижа, с конца XIX века место обитания артистической богемы.

Дарьял — Дарьяльское ущелье (глубина до 1000 м) в долине реки Терек на Кавказе.

Машук — гора (993 м), возвышающаяся над Пятигорском. У ее подножия был убит Лермонтов.

...как будто с Вербы — / руками картонными. — На базаре в Москве, устраивавшемся на Красной площади в Вербную неделю перед Пасхой, продавались игрушки.

С борта / звездолётом / медведьинским братом // горланю стихи мирозданию в шум. — Маяковский представлял себе смерть как переселение человека в пространства Вселенной (ср.: «Пустота... / Летите, / в звезды врезываясь» — в стихотворении «Сергею Есенину»), потому и верил в возможность воскрешения, возвращения мертвых с помощью высокоразвитой науки будущего.

Во весь голос. Первое вступление в задуманную, но ненаписанную поэму о пятилетке.

...ярый враг воды сырой. — В своих агитках Маяковский призывал не пить некипяченую воду во избежание тифа.

Я, ассенизатор / и водовоз... — Литературные противники Маяковского, используя его «Хорошее отношение к лошадям», всячески обыгрывали тему обоза и ассенизационной повозки. Особенно усердствовал в этом лидер группы конструктивистов, считавшей себя наиболее современной и прогрессивной, Илья Львович Сельвинский (1899—1968). Маяковский, как это не раз бывало в истории литературы, принял уничижительное определение новаторского творчества и силой подлинного таланта возвысил его.

...кудреватые Митрейки, / мудреватые Кудрейки... — К. Митрейкин и А. Кудрейко — незначительные поэты круга конструктивистов, не раз пытавшиеся высмеивать образы стихов Маяковского. А. Кудрейко часто поминал в своих сочинениях мандолину. «*Таратина, таратина, // т-эн-н...*» — из «Цыганского вальса на гитаре» И. Сельвинского.

Це Ка Ка — Центральная контрольная комиссия, избравшаяся съездом ВКП(б). Маяковский в своем трагическом утопизме верит, что в далеком будущем сохранится этот контролирующий партийный орган, и провозглашает готовность поэта, не являвшегося членом коммунистической партии, этому органу подчиняться.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Кормилов. <i>Идущий через громаду лет</i>	5
--	---

Стихотворения

Ночь	37
Из улицы в улицу	38
А вы могли бы?	39
От усталости	—
Адище города	40
Нате!	—
Ничего не понимают	41
Несколько слов обо мне самом	—
Послушайте!	42
А все-таки	43
Еще Петербург	—
Война объявлена	44
Мама и убитый немцами вечер	45
Скрипка и немножко нервно	47
Я и Наполеон	48
Военно-морская любовь	51
Гимн критику	—
Гимн обеду	53
Чудовищные похороны	54
Мое к этому отношение (<i>Гимн еще почтее</i>)	55
Ко всему	56
Лиличка! <i>Вместо письма</i>	60
Надоело	61
Дешевая распродажа	63
Себе, любимому, посвящает эти строки автор	65
Последняя петербургская сказка	67
Революция. <i>Поэтохроника</i>	68
К ответу!	74

Наш марш	75
Хорошее отношение к лошадям	76
Ода революции	78
Приказ по армии искусства	80
Левый марш (<i>Матросам</i>)	81
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	82
Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума	86
О дряни	90
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе	92
Прозаседавшиеся	94
Весенний вопрос	96
Тамара и Демон	98
Юбилейное	102
Из цикла «Париж»	111
Верлен и Сезан	—
Прощанье	117
Из цикла «Стихи об Америке»	118
6 монахинь	—
Мелкая философия на глубоких местах	121
Блек энд уайт	123
Христофор Колумб	126
Бродвей	133
Небоскреб в разрезе	136
Домой!	138
Сергею Есенину	141
Разговор с фининспектором о поэзии	146
Послание пролетарским поэтам	154
Товарищу Нетте — пароходу и человеку	159
Ужасающая фамильярность	162
Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»	163
Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому	165
Нашему юношеству	171
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру	175
Подлиза	178
Стихи о разнице вкусов	181
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви	182
Письмо Татьяне Яковлевой	187

Разговор с товарищем Лениным	189
Стихи о советском паспорте	192
Птичка божия	195
Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка	198
<Неоконченное>	201

Поэмы

Облако в штанах	205
Флейта-позвоночник	227
Люблю	237
Про это	247
Во весь голос	297
<i>Комментарии С. Кормилова</i>	<i>303</i>

Для детей старше 16 лет (16+)
(В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ)

Литературно-художественное издание

СЕРИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Маяковский Владимир Владимирович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Ответственный редактор

О. Б. Гринцева

Художественный редактор

Е. М. Ларская

Технический редактор

Е. П. Кудиярова

Корректор

В. В. Борисова

Компьютерная верстка

И. Г. Лебидько

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.12.13.
Формат 84x108^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Шрифт «Школьный».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 16,48.
Тираж 5000 экз. Заказ №

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
ОАО «Издательство «Детская литература».
125319, Москва, ул. Черняховского, 4.
www.detlit.ru